

БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Мэтью Грегори
Льюис

МОНАХ
АНАКОНДА
ВЕНЕЦИАНСКИЙ
УБИЙЦА

«ИНОСТРАНКА»



Иностранная литература. Большие книги

Мэтью Грегори Льюис

**Монах. Анаконда.
Венецианский убийца**

«Азбука-Аттикус»

1796

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)5-44

Льюис М.

Монах. Анаконда. Венецианский убийца / М. Льюис — «Азбука-Аттикус», 1796 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-25066-6

«Эпатажный», «провокативный», «сенсационный» – такими эпитетами уже два столетия сопровождаются отзывы критиков о романе английского писателя Мэтью Грегори Льюиса «Монах», который по выходе в свет весной 1796 года в одночасье стал бестселлером и причиной громкого общественного скандала. История испанского монаха-капуцина Амбросио – нового Фауста, жертвы дьявольских козней и губителя чужих жизней – принесла двадцатилетнему автору противоречивую славу имморалиста, безбожника и одновременно создателя готического романа-трагедии, предвосхитившего сюжетные коллизии романтической литературы. В настоящее издание вошли также разнообразные повести, которые представляют собой как оригинальные творения М. Г. Льюиса, так и его переводы или переложения книг немецких авторов. Эти увлекательные произведения, в которых безошибочно угадывается рука мастера, на русский язык переводятся впервые. Также впервые в России тексты сопровождаются многочисленными иллюстрациями английских, американских и французских художников XIX и начала XX века.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)5-44

ISBN 978-5-389-25066-6

© Льюис М., 1796
© Азбука-Аттикус, 1796

Содержание

Монах	9
Предисловие	9
Предварение	11
Том I	12
Глава 1	12
Глава 2	28
Глава 3	57
Том II	77
Глава 1	77
Глава 2	110
Глава 3	127
Конец ознакомительного фрагмента.	133

Мэтью Грегори Льюис **Монах. Анаконда. Венецианский убийца**



Matthew Gregory Lewis
THE MONK. THE ANACONDA. THE BRAVO OF VENICE



Перевод с английского Александры Глебовской, Ирины Гуровой, Марии Куренной

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».



© А. В. Глебовская, перевод, 2024
© И. Г. Гурова (наследник), перевод, 2024
© М. В. Куренная, перевод, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024 Издательство Иностранка®

Монах

*Somnia, terrores magicos, miracula, fagas,
Nocturnos lemures, portentaque.*

Horatius¹

Предисловие

*Подражание Горацию
(кн. I, послание 20)*

Никак, тщеславия полна,
Глядишь ты, Книга, из окна
На Патерностер знаменитый².
Известность мнишь там обрести ты,
Где авторы за славу бьются,
Но чаще с носом остаются.
Мечтаешь ты, как в позолоте
И самом лучшем переплете
В витрине выставит на свет
Тебя Стокдейл или Дебретт³.

Иди ж, гордынею объята,
Туда, откуда нет возврата
Для дерзких неразумных книг!
Тебя там отругают вмиг,
Коль все-таки окажут честь
Не сразу бросить, а прочесть.
Суровым критиком избита,
На пыльной полке позабыта,
Припомнишь, мучаясь тоской,
Меня, свой ящик и покой!

Гадателя возьму я роль,
Свою судьбу узнать изволь!
Запомни же мои слова:
Чуть перестанешь быть нова,
То в темном и сыром углу
Валяться будешь на полу.
И будет червь тебя точить.
А то и в лавку, может быть,

¹ Магические страхи, чары, сны, Ночные призраки и колдуны. Гораций. – *Здесь и далее примеч. ред.*

² Патерностер-роу – улица в Лондоне, бывшая центром книготорговли.

³ Перечисляются лондонские издатели и книготорговцы.

Твои страницы попадут,
В них свечи ловко завернут.

Но коль замечена ты будешь,
Коль интерес к себе пробудишь,
Глядишь, читатель благосклонный
Займется и моей персоной.
Ответь ему, раз слушать рад,
Что я не беден, не богат,
Страстей игрушка, тороплив,
Мал ростом, очень некрасив.
Немногим нравлюсь я вполне,
Немногие по сердцу мне.
Когда люблю иль ненавижу,
Пределов никаких не вижу.

Мне неприятных не терплю,
Тех, кто понравится, люблю.
В суждениях чересчур поспешен,
Ошибками нередко грешен.
Не предаю друзей моих,
Но сам измены жду от них.
Считать научен нашей эрой
Я дружбу чистою химерой.
Безмерно пылок, горд, упрям,
И не прощаю я врагам.
А вот за тех, кем я любим,
Пройду сквозь пламя и сквозь дым,
Коль спросят вдруг без лишних слов:
«Но возраст автора каков?» —
Ты прямо говори в ответ,
Что мне сравнялось двадцать лет,
Когда у рубежа столетий
Георг сидел на троне Третий⁴.

Что ж, Книга милая, прости!
Иди! Счастливого пути.

М. Г. Л. Гаага, 28 октября 1794 года

⁴ Георг III (1738–1820) – король Великобритании.

Предварение

Идею этого романа подсказала история отшельника Барсисы, изложенная в «Гардиан». Легенда об Окровавленной Монахине по-прежнему пользуется верой во многих частях Германии, и мне говорили, что на границе Тюрингии еще можно видеть развалины замка Лауэнштайн, ее обители. Строфы «Водяного царя» с третьей по двенадцатую – это отрывок из подлинной датской баллады. А «Белерма и Дурандарте» – перевод, оригинал которого можно найти в сборнике старинной испанской поэзии, содержащем также народную песню о Гайферосе и Мелесиндре, упомянутую в «Дон Кихоте».

Итак, я признался во всех случаях плагиата в книге, известных мне самому. Но, полагаю, возможно, еще сыщется много таких, которые сам я пока не заметил.

Том I

Глава 1

*Граф Анджело и строг и безупречен,
Почти не признается он, что в жилах
Кровь у него течет и что ему
От голода приятней все же хлеб,
Чем камень.*

«Мера за меру»⁵

Колокол не звонил еще и пяти минут, а церковь при капуцинском монастыре⁶ уже наполнилась прихожанами. Не обольщайтесь мыслью, будто стекались они туда, влекомые благочестием или жаждой просвещения. Лишь очень немногими руководили эти чувства, ибо в городе, где суеверие столь всевластно, как в Мадриде, тщетно искать искреннюю набожность. И богомольцев в церкви капуцинов собрали разные причины, но только не та, которая якобы привела их в храм. Женщины явились показать себя, мужчины – поглазеть на них; некоторые любопытствовали послушать прославленного проповедника, другие не нашли иного способа скоротать время перед театральным представлением; иные поторопились, потому что их заверили, будто в церковь невозможно будет войти, а половина Мадрида поспешила туда в чаянии встретить другую половину. Искренне желали послушать проповедника лишь горстка дряхлых благочестивцев и благочестивиц да десятков его соперников на поприще духовного красноречия, заранее вознамерившихся разбранить и высмеять его поучения. Что до остальных прихожан, то, останься проповедь произнесенной, они ничуть не огорчились бы, а, весьма вероятно, даже не заметили бы, что лишились ее.

Но как бы то ни было, церковь капуцинов еще никогда не видела в своих стенах столь многочисленного собрания. Ни единого свободного уголка, ни единого незанятого сиденья – площади не было дано даже статуям, украшавшим длинные проходы. На крыльях херувимов повисли мальчишки, святой Франциск и святой Марк оба несли на плечах по зрителю, а святая Агата терпела двойную тяжесть. Вот почему две наши новоприбывшие, как ни торопились, войдя в церковь, тщетно искали взглядом свободное местечко.

Однако старшая, ничтоже сумняшеся, продолжала пробираться вперед. Напрасны были раздававшиеся со всех сторон негодующие возгласы, напрасно к ней зывали: «Уверяю вас, сеньора, тут все занято», «Прошу, сеньора, не толкайте меня так сильно!», «Сеньора, здесь невозможно пройти! И как это люди позволяют себе подобное!» – пожилая богомолка упрямо двигалась дальше. Упорство и два могучих локтя помогли ей проложить путь сквозь толпу почти к самой кафедре. Ее спутница в полном молчании робко следовала за ней, пожиная плоды усилий своей проводницы.

– Пресвятая Дева! – разочарованным тоном воскликнула та, оглядываясь по сторонам. – Пресвятая Дева! Какая духота! Какая толпа! Что бы это значило, хотела бы я знать! Пожалуй, нам придется уйти. Ни одного свободного сиденья, и никто как будто не желает уступить нам свое.

⁵ У. Шекспир. Мера за меру. Акт I, сцена 3. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

⁶ Капуцины – монашеский орден, основанный в 1525 г.

Этот прозрачный намек привлек внимание двух кавалеров, которые, занимая два табурета по правую руку от прохода, прислонялись спиной к седьмой колонне от кафедры. Оба были молоды и одеты пышно. Услышав женский голос, взывавший к их учтивости, они прервали беседу и посмотрели на говорившую. Она откинула покрывало, чтобы яснее рассмотреть внутренность храма. Волосы у нее были рыжие, она косила. Кавалеры отвернулись и возобновили разговор.

– О, конечно! – ответила ее спутница. – О, конечно, Леонелла, вернемся сейчас же домой. Здесь так жарко и душно! А многолюдие меня пугает.

Слова эти были сказаны удивительно мелодичным голосом. Кавалеры вновь прервали беседу, но на этот раз не удовлетворились одним только взглядом, а невольно встали и повернулись к той, что их произнесла.

Стройная изящная фигура вызвала у юношей живейшее желание увидеть лицо говорившей. Но в этом им было отказано: черты ее были скрыты под покрывалом. Однако, пока их владелица пробиралась через толпу, покрывало несколько сбилась в сторону, открыв шею, которая красотой и симметричностью могла бы поспорить с шеей Венеры Медицейской. Она поражала ослепительной белизной и вдвойне пленяла, потому что ее оттеняли золотистые локоны, ниспадавшие до талии. Незвестная была скорее ниже, чем выше среднего роста, но легкостью и воздушностью сложения напоминала дриаду. Грудь ее была тщательно укрыта покрывалом. Белое платье, стянутое кушаком, позволяло увидеть кончик прелестнейшей ножки. С запястья свисали крупные четки, лицо же пряталось за завесой из плотного черного газа. Такова была та, кому младший из юношей уже предлагал свой табурет, а его товарищ счел необходимым оказать ту же услугу ее пожилой спутнице, которая, рассыпаясь в изъявлениях благодарности, не замедлила воспользоваться его любезностью и села.

Младшая последовала ее примеру, но в знак признательности только сделала простой и грациозный реверанс. Дон Лоренцо (так звали кавалера, уступившего ей место) встал подле нее. Но прежде он шепнул несколько слов на ухо своему другу, который тотчас попытался отвлечь внимание своей дамы от обворожительного создания, которое она опекала.

– Без сомнения, вы в Мадриде совсем недавно, – сказал дон Лоренцо прекрасной соседке. – Ведь невозможно, чтобы такие чары оставались незамеченными долго. Будь это не первый ваш выход в свет, зависть женщин и преклонение мужчин уже прославили бы вас.

Он умолк в ожидании, но, так как его речь не требовала непременно ответа, красавица не разомкнула уст, и через несколько мгновений он продолжал:

– Я ошибся, предположив, что вы лишь недавно в Мадриде?

Она заколебалась, но наконец голосом столь тихим, что его трудно было расслышать, произнесла:

– Нет, сеньор.

– Вы намереваетесь остаться в столице долгое время?

– Да, сеньор.

– Я почел бы себя счастливым, будь в моей власти сделать ваше пребывание здесь приятнее. Меня в Мадриде знают, и моя семья пользуется некоторым влиянием при дворе. Если в моих силах чем-либо услужить вам, вы не могли бы сделать мне большей чести и большего одолжения, дозволив быть вам полезным. («Уж конечно, – сказал он себе, – ответить на это она одним словом не сумеет и вынуждена будет заговорить со мной!»)

Однако Лоренцо ошибся: она ответила ему лишь легким поклоном.

Теперь он окончательно убедился, что его соседка не слишком словоохотлива, но, что было причиной ее молчаливости – гордость, благоразумие, робость или глупость, – решить не мог.

Спустя минуту-другую он сказал:

– Несомненно, вы остаетесь под покрывалом потому, что еще не успели узнать наши обычаи. Позвольте, я помогу вам снять его.

И он протянул руку к черному газу, но красавица подняла ладонь, чтобы помешать ему.

– Я никогда не открываю лица на людях, сеньор.

– Но что тут плохого, хотела бы я знать? – перебила ее спутница резким тоном. – Ты ведь видишь, что все дамы и девицы сняли покрывала; без сомнения, из почтения к святому месту, где мы находимся? И я сняла свое, а уж ежели я открываю лицо всем взглядам, у тебя не может быть причин для такой робости! Пресвятая Дева Мария! Сколько жеманства из-за личика. Дитя! Открой его. Поверь мне, никто его у тебя не похитит...

– Милая тетенька, в Мурсии это не в обычае.

– В Мурсии, скажите на милость! Святая Варвара, до каких же пор! Вечно ты мне напоминаешь об этой мерзкой глуши. Если таков мадридский обычай, ничего другого нам знать не надо, а потому я желаю, чтобы ты сейчас же сняла покрывало. Повинуйся мне немедленно, ты знаешь, я не терплю возражений...

Племянница промолчала, но не воспротивилась, когда дон Лоренцо, вооружившись разрешением тетушки, поспешил снять с нее покрывало. Какая ангельская головка предстала его восхищенному взору! И все же она была не столько красивой, сколько обворожительной, пленяя не правильностью черт, а нежностью и прелестью выражения. Взятые по отдельности черты ее не были лишены изъянов, но сочетание их восхищало. Ее кожа, хотя и белоснежная, кое-где была тронута веснушками, глаза не отличались величиной, а ресницы – длиной. Но губы у нее были свежими и алыми, золотистые волосы, перехваченные простой лентой, ниспадали до пояса волнами пышных локонов. Изумительно красивая шея, руки и пальцы отличала безупречная гармоничность, кроткие голубые глаза таили безмятежность небес и искрящийся блеск алмазов. Ей нельзя было дать более пятнадцати лет. Игравшая на ее губах лукавая улыбка свидетельствовала о живости нрава, которую в эту минуту умеряла застенчивость. Она бросала вокруг робкие взоры и едва встречала взгляд Лоренцо, как тотчас потупляла глаза на четки и, залившись румянцем, начинала их перебирать, но, судя по ее движениям, не замечала того, что делает.

Лоренцо смотрел на нее с восхищенным изумлением, но тетушка сочла нужным извиниться за *mauvaise honte*⁷ Антонию:

– Она еще совсем дитя и незнакома со светом и его обычаями. Росла она в Мурсии в старом замке под надзором только своей матушки, а у той, Господи помилуй ее, ума хватает, разве чтобы ложку с супом мимо рта не пронести. А ведь добрая душа мне сестра и по отцу, и по матери.

– И столь неразумна? – спросил дон Кристоаль с притворным изумлением. – Как странно!

– Правда ваша, сеньор. Не удивительно ли? Однако так оно и есть. Но подумайте, как счастье улыбается некоторым. Молодой, весьма знатный юноша вообразил, будто Эльвира может считать себя красавицей... Ну, считать-то она считала, но вот была ли!.. Да если бы я хоть вполтину так прихорашивалась, как она... Хотя это просто к слову. А сказать я хотела, что молодой вельможа влюбился и женился на ней без ведома своего отца. Союз их сохранялся в тайне три года, но затем о нем прознал старый маркиз и, как можете догадаться, доволен не остался, но поспешил в Кордову, намереваясь схватить Эльвиру и запрятать куда-нибудь, чтобы она и вести о себе подать не могла. Святой Павел! Как он гневался, узнав, что она спаслась от него, воссоединилась с мужем и они отплыли в Индии. Он осыпал нас проклятиями, словно в него вселился злой дух. И бросил в темницу нашего отца, такого честного и усердного сапожника, каких и в Кордове мало, а когда уехал, то имел жестокость увезти от нас малютку

⁷ Здесь: неловкость (*фр.*).

сына моей сестры, которого та, вынужденная к поспешному бегству, взять с собой не могла. Полагаю, бедный крошка терпел от него самое дурное обращение, потому что не прошло и нескольких месяцев, как мы получили известие о его смерти.

– Что за ужасный старик, сеньора!

– О, самый гнусный! И к тому же совершенно лишенный вкуса! Поверите ли, сеньор, когда я пыталась успокоить его, он с проклятием назвал меня ведьмой и пожелал, чтобы моя сестра в наказание графу стала такой же безобразной, как я. Безобразной, подумать только! Я ему очень признательна.

– Какая нелепость! – вскричал дон Кристоаль. – Без сомнения, граф почел бы себя счастливым, если бы ему было дозволено обменять одну сестру на другую.

– Господи помилуй! Сеньор, вы весьма учтивы. Однако я сердечно рада, что граф был иного мнения. Много радости все это принесло Эльвире! Тринадцать долгих лет жарясь и парясь в Индиях, ее супруг умирает, и она возвращается в Испанию, не имея ни дома, чтобы преклонить там главу, ни денег, чтобы купить его. Антония, вот она, была тогда еще крошечкой, единственным ее ребенком, оставшимся в живых. Эльвира узнала, что ее свекор снова женился, что графа он не простил и что его вторая жена подарила ему сына, теперь, по слухам, выросшего в весьма достойного юношу. Старый маркиз не пожелал увидеть мою сестру и ее дочь, однако, поставив условие, что больше ему о ней слышать не придется, он назначил ей небольшое содержание и разрешил жить в принадлежащем ему в Мурсии старом замке. Замок этот особенно любил его старший сын, и после бегства того из Испании старый маркиз возненавидел его и оставил ветшать и разрушаться. Моя сестра согласилась, уехала в Мурсию и прожила там до прошлого месяца.

– И что же привело ее теперь в Мадрид? – осведомился дон Лоренцо, который, восхищаясь юной Антонией, с интересом слушал рассказ ее болтливой тетки.

– Увы, сеньор! Ее свекор недавно скончался, и управляющий его мурсийским имением отказался выплачивать ей содержание. И вот в надежде упросить его сына и наследника дать распоряжение, чтобы она продолжала получать эту скудную сумму, моя сестра отправилась в Мадрид. Но, полагаю, она могла бы избавить себя от хлопот. Ведь у вас, знатных молодых людей, всегда находится применение вашим деньгам, и тратить их на старух вы не очень-то склонны. Я посоветовала сестрице послать с прошением Антонию, но она и слышать об этом не желает. Такая упрямая! Ну, пренебрегая моими советами, она себе же хуже делает – у девочки такое миленькое личико, и, надобно полагать, она многого достигла бы!

– Ах, сеньора, – перебил дон Кристоаль, напуская на себя страстный вид, – если тут достаточно миленького личика, почему же ваша сестрица не обратилась к вам?

– Святой Боже! Любезный сеньор, вы, право, смущаете меня своей галантностью. Но признаюсь, мне слишком хорошо известны опасности, сопряженные с такими поручениями, и я не позволю себе оказаться во власти знатного юноши! Нет-нет, я до сих пор храню безупречной мою добрую славу и всегда умела держать мужчин на почтительном расстоянии.

– В этом, сеньора, у меня нет ни малейших сомнений. Но разрешите спросить, питаете ли вы отвращение к супружеству?

– Ну, это простой вопрос. Не могу не признаться, что достойный кавалер, явись он...

Тут престарелая кокетка хотела бросить на дону Кристоаля нежный и выразительный взгляд, но, так как, к несчастью, страдала ужасным косоглазием, взгляд этот упал на его друга, и Лоренцо, приняв комплимент на свой счет, ответил глубоким поклоном.

– Не могу ли я, – сказал он, – осведомиться об имени маркиза?

– Маркиз де лас Систернас.

– Я близко с ним знаком. Сейчас он не в Мадриде, но его ожидают со дня на день, и, если прелестная Антония разрешит мне быть ходатаем за нее, не сомневаюсь, я сумею представить ее просьбу самым убедительным образом.

Антония подняла на него голубые глаза и безмолвно поблагодарила его улыбкой неизъяснимой прелести. Леонелла выразила свою радость куда более бурно и громко. Так как в ее обществе племянница обычно молчала, она считала обязательным говорить за двоих, что не слишком ее затрудняло, ибо запас слов у нее был неисчерпаемый.

– Ах, сеньор! – вскричала она. – Вся наша семья будет вам чрезвычайно обязана! Я принимаю ваше предложение со всей возможной признательностью и приношу вам тысячу благодарностей за ваше великодушное предложение. Антония, дитя, почему ты молчишь? Кавалер говорит тебе тысячи лестных вещей, а ты сидишь, будто статуя, и даже словечка благодарности не проронишь!

– Милая тетушка, я всем сердцем чувствую...

– Фи! Племянница, сколько раз я тебе твердила, что перебивать – верх неучтивости?! Ты когда-нибудь видела, чтобы я позволяла себе подобное? Это в Мурсии себя так ведут! Бог мой! Мне, видно, не удастся научить эту девочку приличным манерам! Но объясните, сеньор, – обратилась она к дону Кристобалу, – почему нынче в церкви такая теснота?

– Неужто вы не знаете, что каждый четверг Амбросио, настоятель монастыря капуцинов, проповедует в этой церкви? Весь Мадрид гремит похвалами ему. Проповедовал он до сих пор всего трижды, но те, кто его слышал, пришли в такой восторг, что теперь найти свободное место в этой церкви в четверг не легче, чем в театре, когда дают новую комедию. Слава его не могла не достигнуть ваших ушей...

– Увы, сеньор! Впервые увидеть Мадрид я имела счастье лишь вчера, а в Кордове мы так мало знаем о том, что происходит в мире, что имя Амбросио там не упоминалось ни разу.

– В Мадриде же оно у всех на устах. Он словно заморозил здешних жителей, и сам я, не побывав еще на его проповедях, дивлюсь восторгам, которые он вызывает. Поклонение, каким его равно окружают молодые и старые, мужчины и женщины, поистине беспримерно. Гранды осыпают его подарками, их супруги желают исповедоваться только у него, и в городе его называют не иначе как «святой».

– Без сомнения, сеньор, он благородного происхождения...

– Это до сих пор остается неизвестным. Покойный аббат капуцинского монастыря нашел его у дверей несмышленным младенцем. Все усилия узнать, кто он, остались бесплодными, а ребенок, разумеется, не мог ничего рассказать о своих родителях. Его вырастили и воспитали в монастыре, стен которого он с тех пор не покидал ни разу. С ранних лет в нем проявилась сильнейшая склонность к ученым занятиям и уединению, и, едва достигнув совершеннолетия, он принял монашество. Никто так и не явился назвать его своим или раскрыть тайну его рождения, монахи же, видя, какой почет приносит обители такое объяснение, не устают повторять, что его им даровала Пресвятая Дева. И правду сказать, необычайная строгость его жизни придает правдоподобие их словам. Он достиг тридцати лет, и каждый их час прошел в благочестивых занятиях, полной удаленности от мира и умерщвлении плоти. До последних трех недель, когда его избрали настоятелем обители, он не покидал ее стен, но и теперь он выходит из монастыря лишь по четвергам и не далее этой церкви, куда послушать его стекается весь Мадрид. Знания его, говорят, чрезвычайно глубоки, красноречие на редкость убедительно. За всю свою жизнь он, насколько известно, ни в чем не нарушил устава своего ордена, ни единое пятнышко не грязнит белоснежных его риз, и, по слухам, он так строго блюдет завет целомудрия, что не знает, в чем заключено отличие мужчины от женщины. Поэтому простонародие и почитает его святым.

– Неужто этого достаточно для святости? – спросила Антония. – Но ведь тогда святой должна слыть и я!

– Святая Варвара! – вскричала Леонелла. – Что за вопрос! Фи, дитя, фи! О таких вещах молодым девицам говорить не пристало. Ты даже думать не должна, что на свете существуют

мужчины, но полагать всех людей одного пола с тобой?! Посмотрела бы я, как ты вдруг призналась бы в неведении того, что у мужчины нет груди, нет бедер, нет...

К счастью для неосведомленности Антонии, которую нотация тетушки вот-вот могла просветить, пронесшийся по церкви ропот возвестил о приходе проповедника. Донья Леонелла встала, чтобы получше его рассмотреть, и Антония последовала ее примеру.

Облик монаха был благороден и исполнен властного достоинства. Его отличал высокий рост, а лицо было необыкновенно красивым: орлиный нос, большие темные сверкающие глаза, черные, почти сходящиеся у переносья брови. Лицо было смуглым, но кожа очень чистой. Ученые занятия и долгие бдения придавали его щекам мертвенную бледность. Безмятежность оведала его гладкое, без единой морщины чело, а душевное спокойствие, которым дышали его черты, казалось, свидетельствовало, что человеку этому неведомы ни суетные заботы, ни соблазны. Он смиренно поклонился пастве, однако в его глазах и манерах чудилась суровость, внушавшая всем благоговейный страх, и мало кто мог выдержать его взор – огненный и пронзительный. Таков был Амбросио, настоятель капучинского аббатства, прозванный святым.

Антония глядела на него как зачарованная и, внезапно ощутив в груди доселе ей неведомый приятный трепет, тщетно искала ему объяснения. С нетерпением она ждала начала проповеди, и, когда наконец монах нарушил молчание, звук его голоса словно проник ей в самую душу. Хотя никто другой в церкви не испытывал столь сильного чувства, как юная Антония, тем не менее все слушали его внимательно и растроганно. Даже те, кому религиозный жар был чужд, не оставались равнодушны к красноречию Амбросио. Говоря, он полностью подчинял их себе, и в переполненной церкви царила глубокая тишина. Даже Лоренцо не устоял перед этим обаянием и, забыв про сидящую рядом Антонию, сосредоточился на словах проповедника.

Жарким, простым и ясным языком монах превозносил блага веры. Некоторые сложные места Святого Писания он толковал с неотразимой убедительностью. Когда он обличал пороки человеческие и обрисовывал кары, ожидающие за них в мире ином, голос его, низкий и звучный, внушал ужас, как грозные раскаты бури. Всяк вспоминал свои прегрешения и содрогался, ожидая удара грома, который сокрушит его и разверзнет у его ног бездну вечной гибели.

Но когда Амбросио, оставив эту тему, заговорил о сладости чистой совести, о вечном блаженстве, уделе душ, не запятнанных грехом, о награде, ожидающей такую душу в непреходящей благодати и блеске, его слушатели ощущали, как к ним возвращаются их упования. Они с надеждой поручали себя милосердию своего Судии, с восторгом впивали утешительные слова проповедника и с гармоничными звуками его голоса переносились в те счастливые сферы, которые он живописал их воображению столь яркими и сверкающими красками.

Длилась проповедь довольно долго, но слушателям, когда она кончилась, показалось, что произошло это слишком скоро. Хотя монах умолк, в церкви продолжала царить благоговейная тишина. Но мало-помалу очарование рассеялось, и со всех сторон послышались восторженные восклицания. Едва Амбросио спустился с кафедры, как слушатели окружили его, осыпая благословениями, бросаясь к его ногам и целуя край его одеяния. Медленным шагом, благочестиво скрестив руки на груди, он направился к двери, ведущей в часовню аббатства, где его ожидала монастырская братия. Он поднялся по ступеням, а затем обернулся к своей пастве и произнес несколько слов благодарности и назидания. В этот миг большие янтарные четки выскользнули из его пальцев и упали в окружающую толпу. Их тотчас схватили и разделили между собой по шарiku. И те, кому достались янтарные бусины, клялись хранить их как святую реликвию. Принадлежи четки самому трижды блаженному святому Франциску, спор из-за них не мог бы стать более жарким. Аббат, улыбнувшись их рвению, еще благословил мирян и покинул церковь с лицом, исполненным смирения. Но было ли исполнено смирением его сердце?

Глаза Антонии провожали его с печалью, и, едва дверь за ним затворилась, ей почудилось, что она утратила нечто, без чего счастье невозможно. По ее щеке скатилась безмолвная слеза.

«Он чужд миру! – сказала она себе. – Наверно, я никогда больше его не увижу!»

Она смахнула слезы с глаз, и Лоренцо заметил это.

– Вам понравился наш проповедник? – спросил он. – Или вам кажется, что Мадрид преувеличивает его достоинства?

Сердце Антонии переполняло такой восторг перед монахом, что она с живостью воспользовалась возможностью поговорить о нем. К тому же Лоренцо более не казался ей совсем незнакомым человеком, и сильная природная застенчивость уже не так ее смущала.

– Ах! Он далеко превзошел все мои ожидания, – ответила она. – До этой минуты я ничего не знала о власти красноречия. Но едва он заговорил, как его голос преисполнил меня таким интересом, таким благоговением и даже могу сказать – такой любовью к нему, что я сама удивляюсь силе моих чувств.

Лоренцо улыбнулся бурности ее выражений.

– Вы молоды и лишь вступаете в жизнь, – сказал он. – Мир еще вновь вашему сердцу, оно полно жара и чувствительности, а потому жадно воспринимает новые впечатления. Вы бесхитростны, не способны подозревать в обмане других и, взирая на мир правдивыми и невинными глазами, воображаете, будто все вокруг вас заслуживает вашего доверия и уважения. Как жаль, что эти радостные грезы скоро рассеются! Как жаль, что скоро вы неизбежно убедитесь в низости людской и будете беречься ближних, будто злейших врагов!

– Увы, сеньор! – отвечала Антония. – Злосчастия моих родителей уже открыли мне много печальных примеров людского вероломства! Однако же сейчас мои чувства не могли меня обмануть.

– Признаю, что на этот раз так оно и есть. Амбросио заслуженно называют безупречным, а к тому же человеку, всю жизнь проводящему в стенах монастыря, не выпадает случая запятнать себя грехом, даже если у него и были бы такие наклонности. Но теперь, когда новые обязанности вынуждают его соприкасаться с миром сует и подвергаться соблазнам, именно теперь ему и надлежит явить весь блеск своих добродетелей. Испытание очень опасное: ведь он как раз достиг возраста, когда страсти обретают особенную силу, необузданность и власть. Слава его святости делает его желанной добычей искушения. Новизна придает особую заманчивость наслаждениям, и даже достоинства, которыми его наделила Природа, могут способствовать его гибели, открывая легкие пути достижения цели. Мало кто выходит победителем из подобной схватки.

– О! Но, несомненно, Амбросио будет одним из немногих!

– В этом я и сам не сомневаюсь. По общим отзывам, он исключение из рода человеческого, и Зависть тщетно пыталась бы найти в его натуре хоть малый изъян.

– Сеньор, ваше заверение очень меня радует. Оно подтверждает, что в моем расположении к нему нет ничего дурного, а вы и представить себе не можете, как больно мне было бы подавить в себе это чувство. О дражайшая тетушка, попросите матушку, чтобы она избрала его нашим духовником.

– Просить ее? – сказала Леонелла. – Вот уж нет! Мне этот Амбросио совсем не понравился. У него такой суровый вид, что он вверг меня в дрожь. Стань он моим духовником, я и в половине своих грешков побоялась бы ему признаться, и что тогда со мной случилось бы? Более строгого человека я в жизни не видывала и, надеюсь, больше никогда не увижу! Описывая дьявола – Господи, спаси нас и помилуй! – он напугал меня до смерти, а когда упоминал про грешников, так и казалось, что он их загрызть готов!

– Вы правы, сеньора, – согласился дон Кристоаль. – Избыток строгости – вот единственное, что вменяют в вину Амбросио. Сам свободный от людских слабостей, он недостаточно

снисходителен к ним в других, и, хотя решения его справедливы и беспристрастны, он, управляя монастырем совсем недавно, уже успел показать свою непреклонность. Однако церковь почти опустела, так не разрешите ли проводить вас домой?

– Боже мой, сеньор! – вскричала Леонелла с напускным смущением. – Ни за что на свете! Если я вернусь домой в сопровождении столь галантного кавалера, моя щепетильная сестрица будет час мне выговаривать, а потом поминать про это что ни день. К тому же я предпочла бы, чтобы вы так не торопились сделать предложение...

– Предложение, сеньора? Уверяю вас...

– Ах, сеньор, я верю в искренность вашего нетерпения. Но право же, мне нужна небольшая отсрочка. Ведь было бы неделикатно, если бы я приняла вашу руку так вдруг...

– Мою руку? Клянусь жизнью...

– О дражайший сеньор, не настаивайте, если любите меня! Ваше послушание я почти за доказательство вашей страсти. Я дам вам знать завтра, а пока прощайте. Но не могу ли я, любезные кавалеры, узнать ваши имена?

– Мой друг, – ответил Лоренцо, – граф д'Оссорио, а я – Лоренцо де Медина.

– Достаточно. Ну, дон Лоренцо, я передам сестрице ваше любезное предложение и сообщу вам ее ответ со всей поспешностью. Куда я могу его послать?

– Меня всегда можно найти во дворце Медина.

– Не замедлю послать вам весточку. Прощайте, кавалеры. Сеньор граф, молю вас умерить излишний пыл вашей страсти. Но в доказательство, что вы не навлекли на себя мое неудовольствие, и не желая, чтобы вы впали в отчаяние, примите этот знак моей благосклонности и иногда вспоминайте о вашей отсутствующей Леонелле.

С этими словами она протянула тощую морщинистую руку, которую ее предполагаемый обожатель поцеловал с такой видимой неохотой и неловкостью, что Лоренцо с трудом сдержал смех. Затем Леонелла поспешила вон из церкви, прелестная Антония молча последовала за ней, но в дверях невольно обернулась и обратила взор на Лоренцо. Он поклонился, прощаясь с ней, она ответила реверансом и торопливо удалилась.

– Итак, Лоренцо, – сказал дон Кристобаль, едва они остались одни, – ты поспособствовал мне завязать чудесную интрижку! Заметив твой интерес к Антонии, я услужливо отпустил несколько пустых комплиментов тетке, и не прошло и часа, а я уже попал в женихи! Как ты вознаградишь меня за столь тяжкие страдания ради тебя? Чем отплатишь за поцелуй, который я запечатлел на костлявой лапе старой ведьмы? О дьявол! Она оставила на моих губах такой смрад, что от меня месяц будет разить чесноком. На Прадо⁸ меня примут за сбежавший омлет или перезрелую луковицу!

– Признаю, мой бедный граф, – ответил Лоренцо, – твоя услуга была сопряжена с опасностью. Однако я далек от мысли, что опасность эта так уж велика, и, вероятно, буду просить тебя продлить свое ухаживание.

– Из этой просьбы я заключаю, что малютка Антония произвела на тебя впечатление.

– Не могу выразить тебе, как я ею очарован. С тех пор как скончался отец, мой дядя герцог де Медина не раз изъявлял желание увидеть меня женатым. До сих пор я пропускал его намеки мимо ушей и делал вид, что не понимаю их. Но после того, что я увидел нынче вечером...

– Ну? Так что же ты увидел нынче вечером? Право, дон Лоренцо, не обезумел же ты настолько, чтобы возмечтать о браке с внучкой «такого честного и усердного сапожника, каких и в Кордове мало»?

⁸ Прадо – известная улица в Мадриде, место прогулок местной знати.

– Ты забываешь, что она, кроме того, внучка покойного маркиза де лас Систернаса. Но, не вступая в спор о благородном рождении и титулах, уверяю тебя, что я никогда не видел девушки пленительнее Антонии.

– Вполне возможно. Но ведь жениться на ней ты не собираешься?

– А почему нет, милый граф? Богатства у меня хватит на нас обоих, и тебе известно, что мой дядя чужд подобных предрассудков. А насколько я знаю Раймонда де лас Систернаса, он охотно признает Антонию своей племянницей. Следовательно, ее происхождение не препятствует мне предложить ей свою руку. И я был бы злодеем, если бы помышлял о ней иначе, чем как о своей жене. Она же, мне кажется, поистине щедро наделена всеми качествами, необходимыми, чтобы составить мое счастье в супружестве. Юная, прелестная, кроткая, разумная...

– Разумная? Но ведь она не проронила ничего, кроме «да» и «нет».

– Не спорю, она правда сказала немногим больше... Зато «да» и «нет» она произносила всегда к месту.

– Неужели? О, я ваш покорнейший слуга! Довод истинно влюбленного, и я не смею продолжать диспут со столь искусным казуистом. А не отправиться ли нам на комедию?

– Это не в моей власти. Я приехал в Мадрид лишь вчера вечером, и у меня еще не было случая увидеться с сестрой. Ты знаешь, ее монастырь находится на этой улице, и я направлялся к ней, когда толпа у входа в эту церковь возбудила во мне любопытство и желание узнать, почему она тут собралась. Но теперь я продолжу путь и, вероятно, проведу вечер с сестрой у решетки в приемной.

– Твоя сестра в монастыре? Ах да! Я было запомнил. И как поживает донья Агнеса? Я поражен, дон Лоренцо, как ты мог даже подумать о том, чтобы замуровать столь очаровательную девицу в стенах святой обители!

– Я, дон Кристоаль? Как мог ты заподозрить меня в подобном варварстве? Тебе известно, что она постриглась по собственному желанию, ведомы тебе и причины, подвигшие ее уйти от мира. Я употреблял все средства, бывшие в моей власти, чтобы она отступила от своего решения, но тщетно! И я лишился сестры!

– Счастливчик! По-моему, Лоренцо, благодаря этой потере ты многое приобрел. Если я не ошибаюсь, донья Агнесе в приданое предназначались десять тысяч пистолей и половина их отошла вашей милости! Клянусь святым Яго! Будь у меня пятьдесят сестер в таком же положении, я без грусти согласился бы лишиться их всех таким манером...

– Как, граф! – гневно перебил Лоренцо. – Вы полагаете, что я был настолько низок и содействовал пострижению моей сестры? Вы полагаете, что подлое желание завладеть ее деньгами могло...

– Превосходно! Смелее, дон Лоренцо! Как он пылает яростью! Дай Бог, чтобы Антония смягчила этот бешеный нрав, не то и месяца не пройдет, как мы перережем друг другу глотки! Однако, дабы избежать подобного бедствия сейчас, я удаляюсь и оставляю поле брани за вами. Прощайте, рыцарь вулкана Этны! Умерьте вашу вспыльчивость и помните, что всякий раз, когда понадобится строить куры известной вам старой ведьме, я к вашим услугам!

С этими словами он бросился вон из церкви.

– Вертопрах! – пробормотал Лоренцо. – Как жаль, что при столь превосходном сердце у него нет ни капли здравого смысла!

Уже наступал вечер, но светильники еще не были зажжены, а слабые лучи восходящей луны почти не проникали в готический сумрак церкви. Лоренцо не находил в себе силы уйти оттуда. Холод, наполнивший его грудь после ухода Антонии и при воспоминании о жребии сестры, который дон Кристоаль заставил его столь живо себе представить, породил у него в душе меланхолию, с избытком гармонизировавшую с окружающим его соборным мраком. Он все еще прислонялся к колонне седьмой от кафедры. По опустевшим приделам веяла прохлада, лунные лучи лились в церковь сквозь цветные стекла, одевая своды и массивные колонны узо-

рами, слагавшимися из тысячи различных красок и оттенков. Вокруг царила глубокая тишина, нарушаемая порой лишь отдаленным стуком дверей где-то в монастыре за стеной.

Безмолвие часа и уединенность места усугубили меланхолию Лоренцо. Он опустился на ближайшую скамью и предался игре воображения. Он думал о брачном союзе с Антонией, он думал о препятствиях, которые может встретить на пути осуществления своего желания, и тысяча видений представала его мысленному взору, правда печальных, но и сладостных. Незаметно он погрузился в дремоту, и владевшая им тихая грусть продолжала оказывать влияние на сонные грезы.

Он и во сне мнил себя в церкви капуцинов, но уже не темной и не пустой. Со сводов лили яркие лучи бесчисленные серебряные светильники. Согласно пение невидимого хора сливалось с мощными звуками органа. Аналой был словно украшен для торжественного пиршества, вокруг собралось блистательное общество, а совсем близко стояла Антония в белом наряде невесты, чаруя румянцем целомудренной стыдливости.

С надеждой и боязнью взирал Лоренцо на это зрелище. Внезапно дверь, ведущая внутрь аббатства, распахнулась, и он увидел, как оттуда во главе вереницы монахов выходит проповедник, которому он недавно внимал с таким восхищением.

– Где жених? – спросил воображаемый настоятель.

Антония словно обвела церковь тревожным взглядом. Лоренцо невольно вышел из своего укомного уголка. Она увидела его, и ее ланиты одела краска радости. Пленительным жестом она поманила его, и он не послушался, но поспешил к ней и бросился к ее ногам.

Она отступила, а потом посмотрела на него с неизъяснимым восторгом.

– Да! – вскричала она. – Мой жених! Мой суженый!

С этими словами она сделала движение, чтобы пасть в его объятия. Но прежде чем он успел прижать ее к груди, между ними возник Некто. Рост его был гигантским, лицо темным, глаза ужасали свирепостью, уста изрыгали пламя, а на челе у него было начертано: «Гордыня! Любострастье! Бесчеловечность!»

Антония испустила вопль. Чудовище схватило ее и, прыгнув с ней на аналой, принялось терзать ее гнусными ласками. Тщетно пыталась она вырваться из его рук. Лоренцо бросился к ней на помощь, но в тот же миг загрохотал гром. Храм начал разваливаться, монахи с криками ужаса обратились в бегство, светильники погасли, аналой провалился сквозь плиты пола, и в них разверзлась пламенеющая бездна. С пронзительным и жутким воем чудовище рухнуло в пропасть, стремясь увлечь с собой Антонию. Но тщетно. Со сверхъестественной силой она вырвалась из гнусных объятий, но ее белое одеяние осталось у него в лапах. И тотчас два сверкающих крыла развернулись за ее плечами. Она устремилась ввысь, обратив к Лоренцо такие слова:

– Друг! Мы встретимся в горнем мире!

В тот же миг крыша церкви раскрылась, под сводами зазвучали дивные голоса и Антония вознеслась навстречу такому всеобъемлющему сиянию, что Лоренцо был ослеплен. Глаза его перестали видеть, и он упал ничком на пол.

Пробудившись, Лоренцо обнаружил, что лежит на каменном полу церкви. Теперь она была освещена, и до него донеслись отдаленные звуки духовных песнопений. Несколько минут он не мог поверить, что все случившееся ему только привиделось, такое сильное впечатление произвел на него этот сон. Затем к нему вернулась ясность мысли, и он понял свое возбуждение – светильники были зажжены, пока он спал, а слышал он музыку и пение монахов, служащих вечерню в монастырской часовне.

Лоренцо встал, намереваясь направиться в монастырь сестры, но все еще продолжал раздумывать над своим сном. Он уже приблизился к двери, как вдруг его внимание привлекла тень, скользящая по стене напротив. Он с любопытством оглянулся и вскоре различил закутанного в плащ мужчину, который оглядывался, словно опасаясь, не следят ли за ним. Любо-

пытство свойственно почти всем людям. Незнакомец что-то скрывал, и потому Лоренцо загорелся желанием узнать, что привело его в церковь.

Наш герой понимал, что не имеет права подсматривать за неизвестным кавалером. «Ухожу!» – сказал себе Лоренцо. И остался стоять, где стоял.

Тень колонны надежно скрывала его от незнакомца, который продолжал осторожно приближаться. Затем он вынул из-под плаща письмо и торопливо поместил его под колоссальной статуей святого Франциска, после чего быстро отступил в отдаленный придел и спрятался там.

«Ах так! – сказал Лоренцо мысленно. – Просто глупая любовная интрижка. Что же, пожалуй, я уйду, ведь помочь я тут ничем не могу!»

Правда сказать, до этого мига ему и в голову не приходило, что он может чем-то помочь, но ему хотелось оправдаться перед собой, придумав причину, объяснявшую, что заставило его задержаться. Тут он второй раз направился к двери и без помех вышел. Однако судьба сулила ему вновь вернуться в церковь.

Он спускался по ступеням, как вдруг его толкнул какой-то избежавший по ним кавалер, и они оба еле удержались на ногах. Лоренцо схватился за шпагу.

– Сеньор! – вскричал он. – Что означает ваша грубость?

– Ха! Медина, это ты? – ответил тот, и Лоренцо тотчас узнал голос дона Кристобая. – Поистине ты самый счастливый смертный во вселенной, что не покинул церкви до моего возвращения. Внутрь, внутрь, мой милый! Они вот-вот будут здесь.

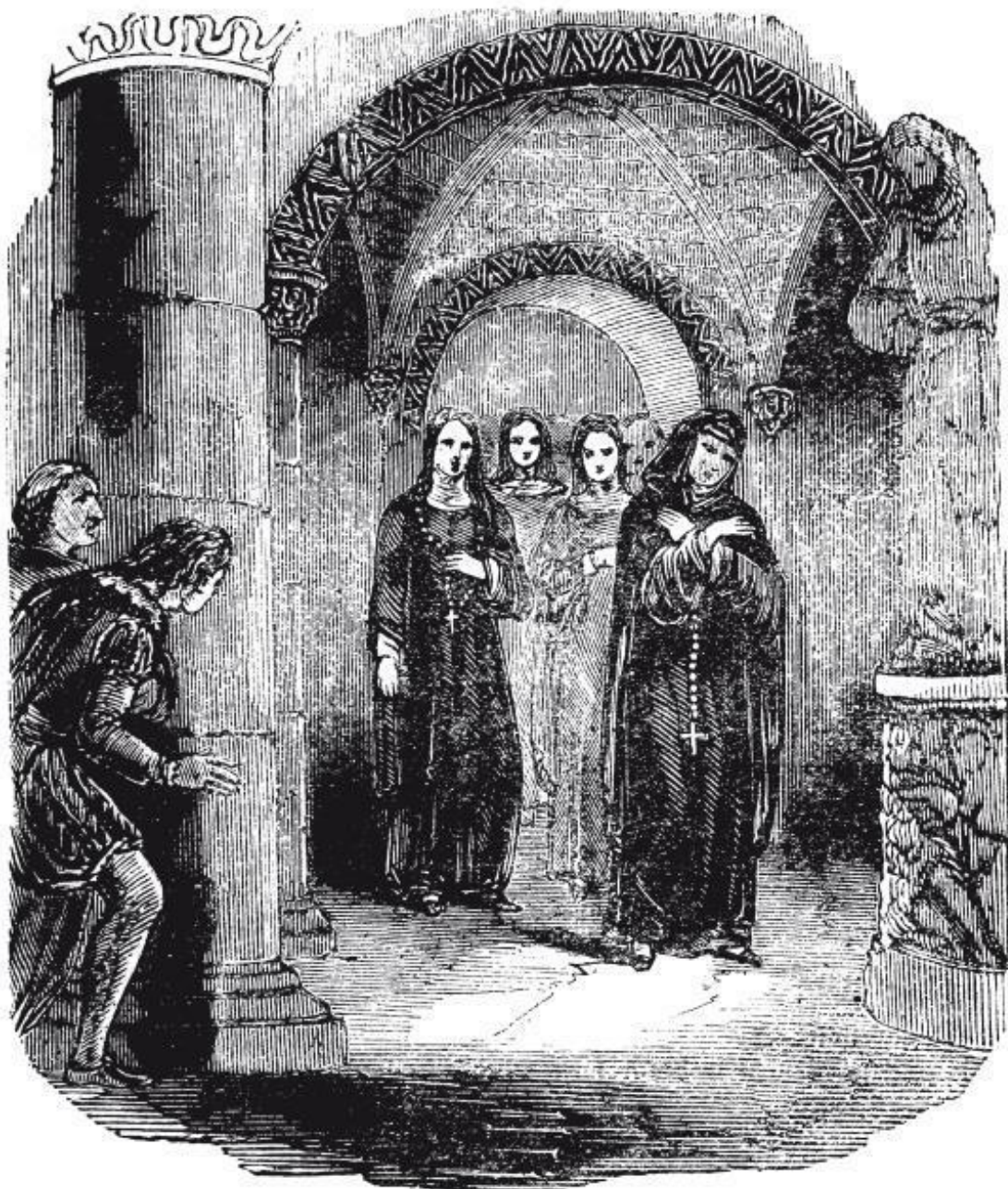
– Кто будет здесь?

– Старая наседка со всеми своими прелестными цыпочками! Внутрь, говорят же тебе, и тогда ты все узнаешь.

Лоренцо следом за ним вернулся в церковь, и они укрылись за статуей святого Франциска.

– Ну а теперь, – сказал наш герой, – могу ли я позволить себе смелость спросить, отчего такая спешка и восторги?

– О Лоренцо! Мы увидим такое бесподобное зрелище! Сюда грядут настоятельница обители Святой Клары и все ее монашенки! Узнай, что благочестивый отец Амбросио (да воздаст ему за то Господь!) не покидает своего монастыря ни для кого и ни для чего, а так как всякая приличная обитель только его хочет видеть своим исповедником, монахиням остается лишь приходить к нему в аббатство. Ведь если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. А настоятельница монастыря Святой Клары, дабы вернее избежать нечистых взглядов вроде твоих или твоего покорного слуги, водит своих овечек исповедоваться в вечернем сумраке. В часовню аббатства они войдут вон через ту дверь, закрытую для мирян. Привратница ее монастыря, весьма достойная старушка и моя добрая приятельница, только что заверила меня, что они будут тут через минуту-другую. Так вот, плутишка, мы сейчас увидим самые хорошенькие личики в Мадриде!



– Нет, Кристоаль! Мы их не увидим. Монахини всегда ходят под покрывалом.

– Ничего подобного! Ты ошибаешься: входя во храм, они снимают покрывала в знак уважения к его святому патрону. Но чу! Они приближаются. Молчи, молчи! Смотри и убедись!

«Отлично! – сказал себе Лоренцо. – Быть может, я открою, кому предназначил свои клятвы таинственный незнакомец в том приделе».

Едва дон Кристоаль умолк, как в дверь вошла настоятельница монастыря Святой Клары во главе длинной вереницы монахинь. Каждая, переступив порог, снимала покрывало. Проходя мимо статуи святого Франциска, патрона этой церкви, настоятельница сложила руки на груди и низко перед ней склонилась. Монахини одна за другой повторяли ее поклон и шли дальше, а любопытство Лоренцо все еще оставалось неудовлетворенным. Он уже начинал отчаиваться, когда, склоняясь перед святым Франциском, одна из монахинь уронила четки и нагнулась их поднять. На ее лицо упал свет, и в тот же миг она ловко извлекла письмо из-под статуи, спрятала его на груди и поспешила вернуться на свое место в процессии.

– Ха! – тихим шепотом сказал Кристоаль. – Интрижка, не иначе!

– Агнеса, клянусь Небом! – воскликнул Лоренцо.

– Как! Твоя сестра? Дьявол! Полагаю, кому-то придется поплатиться за то, что мы посмотрели тут.

– Да. И поплатиться немедленно! – ответил разгневанный брат.

Благочестивая процессия уже вошла в аббатство, и внутренняя дверь закрылась. Известный тотчас вышел из своего тайного убежища и поспешил к выходу. Но тут на пути у него встал Медина. Известный отступил и надвинул шляпу на глаза.

– Не пытайся укрыться от меня! – вскричал Лоренцо. – Я узнаю, кто ты такой и что было в этом письме!

– В каком письме? – повторил известный. – И по какому праву вы задаете этот вопрос?

– По законнейшему. Но не тебе задавать мне вопросы. Либо подробно объясни то, что я хочу узнать, либо пусть мне ответит твоя шпага.

– Второй ответ будет короче, – воскликнул незнакомец, обнажая шпагу. – Я готов, сеньор браво!⁹ Начнем.

Пылая гневом, Лоренцо сделал выпад, и противники успели обменяться несколькими ударами, прежде чем Кристоаль, не в пример им сохранивший благоразумие, успел встать между ними.

– Остановитесь! Остановись, Медина! – вскричал он. – Вспомни кару за пролитие крови в освященном месте!

Известный тотчас опустил шпагу.

– Медина? – воскликнул он. – Великий Боже, возможно ли это? Лоренцо, неужели ты забыл Раймонда де лас Систернаса?

Изумление Лоренцо возрастало с каждой секундой. Раймонд шагнул к нему, но он с подозрением во взоре отнял руку, которую тот хотел взять.

– Вы здесь, маркиз? Что все это означает? Вы ведете тайную переписку с моей сестрой, чье сердце...

– Всегда было и остается моим. Но тут не место для объяснений. Проводи меня в мой дом, и узнаешь все. Кто тут с тобой?

– Тот, кого, сдается мне, вы видели и раньше, – ответил дон Кристоаль. – Хотя навряд ли в храме Божьем.

– Граф д'Оссорио?

– Он самый, маркиз.

– Я готов открыть мою тайну и вам, ибо не сомневаюсь, что могу положиться на вашу скромность.

– Значит, вы более высокого мнения обо мне, чем я сам, и потому не стану злоупотреблять вашим доверием. Сейчас вы пойдете своей дорогой, я своей, однако, маркиз, где вас можно найти?

– Как обычно, во дворце де лас Систernas. Но помните, я здесь инкогнито, и, пожелав увидеть меня, вам следует спросить Альфонсо д'Альвараду.

– Отлично, отлично! Прощайте, кавалеры, – сказал дон Кристоаль и тотчас удалился.

– Вы, маркиз? – с удивлением произнес Лоренцо. – Вы Альфонсо д'Альварада?

– Да, так, Лоренцо. Но раз твоя сестра еще не поведала тебе мою историю, ты услышишь много такого, что тебя поразит. А потому не мешкай, последуй со мной в мой дом.

⁹ *Браво* – так в средневековой Италии называли разбойников и авантюристов, которые зарабатывали наемными убийствами и прочими преступлениями; брави, как правило, действовали целыми шайками, совместно выполняли «заказы» и делили между собой гонорар. В том же смысле в итальянском языке употребляется и слово «бандиты». См. далее повесть «Венецианский разбойник».

В церковь тем временем вошел привратник, чтобы запереть ее на ночь, и молодые люди, торопливо ее покинув, поспешили во дворец де лас Систернас.

– Ну, что ты думаешь, Антония, о наших ухажерах? – осведомилась тетушка, едва они вышли из церкви. – Дон Лоренцо кажется весьма обязательным молодым человеком, и он так смотрел на тебя! Никто не знает, к чему это может привести. А что до дона Кристобая, поверь мне, он истинный феникс галантности! Такой любезный, такой учтивый! Такой чувствительный и пылкий! Ну-ну! Если мужчине и удастся понудить меня к нарушению клятвы, то лишь этому дону Кристобаю. Видишь, племянница, все оборачивается точно, как я тебе предрекала. Я знала, что стоит мне показаться в Мадриде – и меня сразу толпой окружат воздыхатели. Когда я сняла покрывало, Антония, ты видела, как поражен был граф? А когда я протянула ему руку, ты заметила, каким страстным был его поцелуй? Если мне когда-либо доводилось видеть истинную любовь, то это она просияла в чертах дона Кристобая!

Антония, надо сказать, заметила, с каким выражением дон Кристобаль приложил губы к указанной руке, и впечатление у нее сложилось несколько иное, чем у тетушки, но ей достало благоразумия промолчать. Это единственный известный случай, когда женщина промолчала при таких обстоятельствах, а потому он и был удостоен упоминания здесь.

Старая дева продолжала разглагольствовать в том же духе, пока они не пришли на улицу, где сняли комнаты, но собравшаяся перед их домом толпа воспрепятствовала им войти в дверь. Перейдя на другую сторону улицы, они попытались выяснить причину сборища. Вскоре толпа образовала круг, и в середине его Антония узрела женщину необыкновенного роста, которая вертелась в странной пляске, необыкновенным образом размахивая руками. Платье ее было сшито из разноцветных шелковых и полотняных лоскутов чрезвычайно пестро, но не без вкуса. На голове у нее было намотано подобие тюрбана, украшенного виноградными листьями и полевыми цветами. Она выглядела необыкновенно загорелой, и цвет ее кожи был оливково-смуглым. Глаза пылали таинственным огнем, а в руке она держала длинный черный жезл, которым порой чертила на земле разнообразные непонятные фигуры, а затем опять принималась кружиться между ними, словно охваченная безумием. Внезапно она прервала пляску, трижды с неопишуемой быстротой повернулась на одной ноге, а затем после краткого молчания запела следующую балладу.

Песнь цыганки
Позолотите ручку мне вы,
Мудрей меня нет на земле.
Спешите суженого, девы,
Увидеть в колдовском стекле.
По Книге Судеб я читаю,

Что было и что будет впредь,
Небес предначертанья знаю,
Грядущее дано мне зреть.

Луну средь черных туч веду я
И ветры шлю вперед, назад.
Дракона усыпить могу я,
Что сторожит бесценный клад.

Могучие творю заклатья,

Чтоб зло и беды отвратить.
На шабаш ведьм могу слетать я
И на змею ногой ступить.

Купите зелья! Все в их власти!
Вот это мужа в дом вернет,
А это пламя пылкой страсти
В холодном юноше зажжет.

Заблудшей деве мазь поможет —
Вернет ее потерю ей,
А притиранье сделать может
Лицо румяней и белей.

Узнайте, много вам иль мало
Судьба сулит. Пройдут года.
«Цыганка правду нагадала!» —
Вот что вы скажете тогда.

– Милая тетушка, – спросила Антония, когда необыкновенная женщина умолкла, – это помешанная?

– Помешанная? Вот уж нет, дитя. Но злая и опасная. Это цыганка, бродяжка! Скитается по стране, городит небылицы и прикарманивает денежки тех, кто честно их заработал. Покончить бы с этими тварями! Будь я королем Испании, все они, кого через три недели нашли бы в моих владениях, все сгорели бы заживо.

Слова эти были произнесены столь громко, что достигли ушей цыганки, и она тотчас прошла сквозь толпу к тетке и племяннице.

Трижды поклонившись им по восточному обычаю, она обратилась к Антонии:

Ах, красавица девица,
Не тебе меня страшиться.
Без боязни руку дай
И судьбу свою узнай!

– Дражайшая тетушка! – сказала Антония. – Побалуйте меня, разрешите, пусть она мне погадает.

– Вздор, дитя! Она наплетет тебе множество небылиц.

– И пусть. Позвольте мне послушать, что она придумает сказать. Ну пожалуйста, милая тетушка. Позвольте, умоляю вас!

– Что же, Антония, будь по-твоему, если уж тебе так этого хочется... Эй, добрая женщина, ты погадаешь нам обеим. Вот тебе деньги, а теперь предскажи мне мою судьбу.

С этими словами она сняла перчатку и протянула цыганке руку. Та некоторое время смотрела на ее ладонь, а потом сказала:

Судьбу? Не стану, ваша милость!
Она давно уже свершилась.
Но ваши я взяла монеты,
Примите ж вы мои советы.
Тщеславьем детским, ей-же-ей,
Вы удручаете друзей.
Кокетничать в такие лета —
Безумья верная примета.
Когда красотке пятьдесят,
Когда глаза ее косят,
То трудно прелести такой
Зажечь пожар в груди мужской.
Белила и румяна прочь —
Пристойней нищему помочь,
Чем тратить деньги в заблуждение
На сладострастья ухищренья.
Не о поклонниках с утра —
О Боге думать вам пора.
И не гадать о женихах,
Но каяться в былых грехах.
Ведь Времени коса вот-вот
Волос остатки прочь смахнет.

Речь цыганки вызывала в толпе взрывы хохота. «Пятьдесят», «глаза косят», «остатки волос», «белила и румяна» и прочее передавалось из уст в уста. Леонелла чуть не задохнулась от бешенства и осыпала свою злокозненную советчицу жесточайшими упреками. Смуглая пророчица некоторое время слушала ее с презрительной улыбкой, затем резко ей ответила и повернулась к Антонии:

Уймись, госпожа моя!
Лишь то, что есть, сказала я.
Теперь, красавица, тебе
Я о твоей скажу судьбе.

Как и Леонелла, Антония сняла перчатку и протянула цыганке лилейную ручку, а та долго вглядывалась в линии на ладони с изумлением и жалостью и произнесла затем следующее предсказание:

Боже, линия ужасна!
Ты добра, чиста, прекрасна.
Счастьем стать могла супруга,
И любили б вы друг друга.
Но увы! Не будет так:
Вот черта – зловещий знак!
Сластолюбец и с ним ад
Гибелью тебе грозят,
Ты снести не сможешь горя
И с землей простишься вскоре.
Чтоб судьбу отсрочить злую,

Помни, что тебе скажу я.
Как увидишь добродетель,
Что сама себе свидетель,
Что соблазна не встречает,
Слабость ближних не прощает,
Тут гадалку вспомни ты.
Знай: нередко доброты,
Кротости, смирения вид
Похоть с гордостью таит.
Я с тобой прощусь теперь
Со слезами, но поверь,
Что кручиниться не надо.
За страданья ждет награда,
И в блаженстве бесконечном
Пребывать ты будешь вечно.

Договорив, цыганка закружилась и, трижды повернувшись, с видом отчаяния убежала. Толпа последовала за ней, и Леонелла смогла войти в дом, досадуя на цыганку, на племянницу и на зевак – короче говоря, на всех, кроме себя и своего пленительного кавалера. Предсказание цыганки ввергло Антонию в трепет, однако мало-помалу впечатление это стерлось, и через несколько часов она забыла о случившемся, словно его никогда не было.

Глава 2

*Forse sé tu gustassi una sòl volta
La millé sima parte delle giòje,
Chegusta un cor amato riamando,
Diresti repentita sospirando,
Perduto è tutto il tempo
Chè in amar non si spènde.*

*Tasso*¹⁰

Монахи проводили настоятеля до двери его кельи, где он отпустил их с видом превосходства, в котором нарочитое смирение вело борьбу с подлинной гордыней. Едва он остался один, как дал волю тщеславию. Он вспоминал бурю восторгов, которую вызвала его проповедь, и его сердце преисполнилось радости, а воображение уже рисовало великолепные картины будущего возвеличения. Он посмотрел вокруг себя с ликованием, и гордыня сказала ему громовым голосом, что он – выше всех прочих смертных. «Кто, – думал он, – кто, кроме меня, прошел через испытания юности и ничем не запятнал свою совесть? Кто еще смирил разгул бурных страстей и неистовство нрава, чтобы на светлой заре жизни добровольно затвориться от мира? Тщетно ищу я такого человека. Ни у кого, кроме себя, не вижу подобной решимости. Церковь не может похвастать другим Амбросио! Как поразила моя проповедь мирян! Как они толпились вокруг меня, вопия, что я единственный Столп Церкви, не тронутый порчей? Что же еще остается мне сделать? Ничего – и только с тем же строгим тщанием следить за поведением

¹⁰ Изведавши хоть раз те наслажденья, Что знает сердце любящее, ты С раскаяньем сказала бы, вздыхая: Каждый час тот потерян, Что не отдан любви. *Тассо* Торквато Тассо (1544–1595) – итальянский поэт, писатель, драматург и философ. В качестве эпиграфа взят фрагмент из его поэмы «Аминта». Перевод М. Столярова и М. Эйхенгольца.

монастырской братии, как я следил за своим собственным. Но погоди! Что, если соблазн сведет меня с путей, коим до сих пор я следовал неукоснительно? Или я не человек, чья природа слаба и склонна к заблуждениям? Ведь мне придется теперь покинуть свой уединенный приют. Красивейшие и благороднейшие дамы Мадрида что ни день приезжают в аббатство и желают исповедоваться только у меня. Я должен приучить свои взоры к соблазнам и подвергнуть себя искушению роскошью и желанием. Что, если я встречу в миру, в который должен вступить, прекрасную женщину... прекрасную, как ты, Мадонна!..»

При этой мысли глаза его обратились к висевшему напротив изображению Богоматери – уже два года образ сей был предметом его возрастающего восторга и поклонения. Несколько минут взирал он на святой лик с восхищением, а потом произнес:

– Какая несравненная красота! Как грациозен поворот головы! Какая нежность, но и какое величие в ее божественных глазах! Как изящно склоняется на руку ее щека! Способна ли роза соперничать с румянцем этой щеки? Может ли лилия сравняться белоснежностью с этой рукой? О, если бы такое создание существовало в этой юдоли и существовало лишь для меня одного! О, будь мне дано навивать на пальцы эти золотые локоны и приникать губами к сокровищам этой лилейной груди! Милостивый Боже, сумел бы я устоять перед искушением? Не променял бы за единое объятие награду за тридцатилетние муки? Не покинул бы я... Глупец! Куда ты позволил себя увлечь восхищению перед этой картиной? Прочь нечистые мысли! Я должен помнить, что эта женщина навеки потеряна для меня. Нет и не может быть смертной, столь совершенной, как этот образ. Но и явись такая, соблазн, перед которым не устоит простой смертный, окажется бессильным перед Амбросио. Соблазн, сказал я? Для меня тут не будет соблазна. Та, что чарует меня как идеал, как высшее существо, внушит мне отвращение, если окажется женщиной, запятнанной всеми недостатками, присущими смертным. Я восхищен искусством художника, я поклоняюсь Божественности. Или страсти не умерли в моей груди? Или я не освободился от человеческих слабостей? Не страшись, Амбросио! Черпай уверенность в силе твоей добродетельности. Смело вступи в суетный мир, ты выше его приманок! Вспомни, что теперь ты свободен от пороков рода людского, неуязвим для козней духов тьмы. Они узнают, кто ты таков!

Тут его раздумья прервали три тихих удара в дверь кельи. С трудом аббат очнулся от горячечных мыслей. Стук раздался снова.

– Кто там? – спросил наконец аббат.

– Всего лишь Росарио, – ответил кроткий голос.

– Войди! Войди, сын мой!

Дверь тотчас открылась, и вошел Росарио с корзинкой в руке.

Росарио был юным монастырским послушником и через три месяца намеревался принять постриг. Некая тайна окружала этого юношу, и он вызывал у братии немалый интерес и любопытство. Его ненависть к обществу, его глубокая меланхолия, строжайшее соблюдение всех правил ордена и добровольный отказ от мира, столь необычные в его лета, привлекли к нему внимание всех обитателей монастыря. Казалось, он боится, что его могут узнать, и никто ни разу не видел его лица. Капюшон его всегда был низко опущен. Однако те его черты, которые позволяла увидеть случайность, поражали красотой и благородством. В монастыре его знали только как Росарио. Никто не ведал, откуда он прибыл туда, а на расспросы он отвечал глубоким молчанием. Неизвестный, чьи пышные одежды и великолепный экипаж указывали на богатство и знатность, попросил монахов принять нового послушника и внес положенный вклад. На следующий день он вернулся с Росарио, но больше в монастыре его не видели.

Юноша старательно избегал общества монахов, на их добрые слова отвечал с тихой кротостью, но ясно показывал, что его влечет уединение. Из этого правила единственным исключением был настоятель. На него Росарио взирал с благоговением, близким к обожанию. Его общества он искал с настойчивостью и усердно старался снискать его расположение. В обще-

стве аббата меланхолия, казалось, покидала его сердце, веселость проникала в его речи и поведение. Амбросио со своей стороны также испытывал приязнь к юноше. Только с ним он смягчал свою обычную суровость. Обращаясь к нему, он, сам того не замечая, менял свой строгий тон на ласковый, и ничей голос не был ему так мил. Услуги юноши он вознаграждал, наставляя его в науках. Послушник был старательным учеником, и Амбросио с каждым днем все более пленялся живостью его гения, бесхитростностью манер и чистотой сердца. Короче говоря, он полюбил его с отцовской нежностью. Иногда он невольно испытывал желание увидеть лицо своего ученика. Но запрет, наложенный им на суетные чувства, не допускал любопытства, а потому он не мог высказать юноше это желание.

– Простите, отче, что я потревожил ваш покой, – сказал Росарио, ставя корзинку на стол, – но я прихожу к вам просителем. Мне стало ведомо, что один мой друг опасно болен, и я смиренно прошу вас помолиться о его выздоровлении. Если Небеса могут внять мольбе и пока не призывать его, то, конечно, ваше ходатайство будет услышано.

– Ты знаешь, сын мой, что можешь просить меня обо всем, что в моих силах. Как зовут твоего друга?

– Винченцо делла Ронда.

– Достаточно. Я не забуду его в моих молитвах, и да услышит меня наш трижды благословенный святой Франциск! А что у тебя в корзинке, Росарио?

– Цветы, преподобный отец. Те, что, как я заметил, вам угодны. Вы позволите мне убрать ими вашу келью?

– Твоя заботливость чарует меня, сын мой.

Пока Росарио распределял содержимое корзинки по вазочкам, которые были расставлены по всей келье, аббат продолжил разговор:

– Нынче вечером я не видел тебя в церкви, Росарио.

– Но я был там, отче. Моя благодарность за ваши милости так велика, что я не мог не стать свидетелем вашего торжества.

– Увы, Росарио, для торжества у меня нет причин: моими устами говорил наш святой, и вся заслуга принадлежит ему. Но, значит, моя проповедь не оставила тебя недовольным?

– Недовольным? Отче, вы превзошли себя! Никогда я не слышал такого пламенного красноречия... кроме одного раза.

Тут послушник вздохнул.

– Какого же? – настойчиво спросил аббат.

– Когда вы проповедовали, заменив нашего покойного настоятеля, потому что его сразил внезапный недуг.

– Я помню тот случай. Было это более двух лет назад. И ты меня слышал? Но тогда я еще не знал тебя, Росарио.

– Правда, отче. И Богом клянусь, я предпочел бы не дожить до того дня. Каких мук, какой печали я избежал бы!

– Муки в твои лета, Росарио?

– Да, отче. Муки, которые, будь они вам ведомы, пробудили бы в вас равно и гнев, и сострадание. Муки, которые стали терзанием и радостью моей жизни! Однако в этой обители моя грудь обрела бы покой, если бы не пытка опасениями! Боже! Боже! Как тяжка жизнь в вечном страхе! Отче! Я отринул все, навеки оставил свет и его радости. Не осталось ничего. И ничто не манит меня, кроме вашей дружбы, вашей приязни. Если я лишусь их, отче... Если я лишусь их, вы содрогнетесь перед силой моего отчаяния!

– Ты опасаясь потерять мою дружбу? Чем твое поведение оправдывает подобный страх? Ты должен знать меня лучше, Росарио, и считать достойным твоего доверия. В чем твои муки? Открой мне и верь, если в моей власти облегчить их...

– О, это в вашей власти, и только в вашей! Но открыть их вам я не могу. Вы отринете меня после моего признания! Вы прогоните меня с презрением и отвращением.

– Сын мой, я заклинаю тебя! Я молю тебя!

– Во имя милосердия не спрашивайте более! Я не должен... я не смею... О! Колокол звонит к вечерне! Отче, благословите, и я удалюсь!

С этими словами послушник упал на колени и получил благословение, о котором просил. Затем он прижал руку аббата к губам, поднялся и поспешно покинул келью. А вскоре и Амбросио спустился в часовню аббатства, где служили вечерню, все еще дивясь странному поведению юного послушника.

Вечерня кончилась, и монахи разошлись по своим кельям. Аббат остался в часовне один в ожидании монахинь монастыря Святой Клары. Едва он опустился в кресло исповедника, как вошла настоятельница. Он выслушивал исповедь каждой монахини, пока остальные ждали под присмотром матери настоятельницы в сопредельной ризнице. Амбросио слушал со вниманием, не скупился на назидания, накладывал епитимьи, соразмерные проступкам, и все шло заведенным порядком, пока одна монахиня, отличавшаяся благородством облика и грациозностью фигуры, вдруг нечаянно не уронила скрытое на груди письмо. Она уже повернулась, чтобы выйти в ризницу, не подозревая о потере. Амбросио, полагая, что это письмо от какой-нибудь родственницы, поднял его, чтобы возвратить его ей.

– погоди, дочь моя! – сказал он. – Ты уронила...

Но тут его взор невзначай упал на первую строку уже развернутого письма, и он вздрогнул от изумления. Монахиня обернулась на его голос, увидела записку в его руке и, вскрикнув от ужаса, поспешила назад, чтобы взять ее.

– Остановись! – произнес монах суровым тоном. – Дочь моя, я должен прочесть, что здесь написано.

– Тогда я погибла! – вскричала она, в отчаянье заламывая руки. Краска внезапно бежала с ее лица, она трепетала в смятении и вынуждена была обвить руками колонну, чтобы не рухнуть на пол. Аббат тем временем читал следующие строки:

«Все готово для твоего бегства, возлюбленная Агнеса. Завтра в полночь я буду ждать тебя у садовой калитки. Я раздобыл ключ, и через несколько часов ты будешь в безопасном убежище. Не отвергай из-за ошибочных угрызений верного средства спасения и своего, и невинного создания, которое ты носишь под сердцем. Помни, что ты поклялась стать моей задолго до того, как обещала себя Церкви, что вскоре твое положение станет явным для шарящих взглядов тех, кто тебя окружает, и что бегство – единственное средство избежать их злобы. До свидания, Агнеса, моя возлюбленная, суженая мне жена! Будь у садовой калитки в полночь!»

Едва дочитав, Амбросио обратил суровый, исполненный гнева взгляд на неосторожную монахиню.

– Письмо это должна увидеть настоятельница, – сказал он и направился к двери.

Его слова поразили ее слух как удар грома, она очнулась от растерянности и поняла весь ужас того, что произошло. Кинувшись за ним, она удержала его за край одежды.

– Остановитесь, о, остановитесь! – вскричала она с отчаянием и, распростершись у ног монаха, оросила их слезами. – Святой отец, имейте сострадание к моей юности. Взгляните снисходительно на женскую слабость и снизойдите скрыть мой грех! Все оставшиеся мне дни я посвящу искуплению этого единственного моего проступка, и ваше милосердие вернет Небесам заблудшую душу!

– Поразительная дерзость! Как? Монастырь Святой Клары станет прибежищем распутниц? И я допущу, чтобы Церковь Христова укрывала на груди своей разврат и мерзость? Недостойная тварь! Такое милосердие сделает меня твоим сообщником. Снисходительность тут преступна. Ты предалась сластолюбию соблазнителя, в нечистоте своей ты загрязнила святое

одеяние и смеешь думать, что ты достойна моего сострадания? Прочь, не дерзай долее меня задерживать! Где мать настоятельница? – добавил он, повышая голос.

– Постой, святой отец! Помедли и выслушай меня. Не упрекай меня в нечистоте и не думай, что я согрешила, поддавшись сладострастью. Задолго до того, как я постриглась, Раймонд владел моим сердцем, он внушил мне самую чистую, самую безупречную любовь и должен был стать моим мужем перед Богом и людьми. Страшный случай и гонения родственников разлучили нас. Я полагала, что разлучена с ним навеки, и горесть привела меня в стены монастыря. Судьба вновь свела нас, и я не могла отказать себе в печальной сладости смешать мои слезы с его слезами. Мы еженощно встречались в монастырском саду, и в миг забвения я нарушила обет целомудрия. И скоро должна стать матерью. Преподобный Амбросио, сжался над невинным созданием, чье существование пока слито с моим. Если ты откроешь мою опрометчивость матери настоятельнице, мы оба обречены на гибель. Правила ордена святой Клары предписывают карать таких, как я, несчастных с величайшей суровостью и жестокостью. Достойнейший, достойнейший пастырь, да не сделает тебя твоя собственная незапятнанная совесть глухим к тем, у кого меньше сил противостоять соблазну! Да не станет милосердие единственной добродетелью, чуждой твоему сердцу! Сжался надо мной, святой отец! Отдай мне письмо, не обрекай меня на верную погибель.

– Твоя дерзость поражает меня! Неужто я сокрою твое преступление – я, кого ты обманула лживой исповедью? Нет, дочь, нет! Я окажу тебе подлинную услугу. Я спасу тебя от вечной гибели вопреки тебе самой. Покаяние и умерщвление плоти искупят твой грех, и строгость вернет тебя на пути святости. Э-эй! Мать Агата!

– Отче! Всем, что свято, всем, что вам дорого, я заклинаю, я молю...

– Прочь руки! Я не стану тебя слушать. Где настоятельница? Мать Агата, где ты?

Дверь ризницы отворилась, и в часовню вступила настоятельница с монахинями.

– Жестоко! Жестоко! – вскричала Агнеса, разжимая руки.

В иступлении отчаяния она, упав на пол, била себя в грудь и в беспмятстве рвала покрывало. Монахини взирали на нее с боязливым изумлением. Аббат отдал письмо настоятельнице, объяснил, как оно попало к нему, и добавил, что решить, какой кары заслуживает виновная, должна она.

Настоятельница читала письмо, и ее лицо все больше багровело от гнева. Как! Такое преступление совершалось в ее обители и стало известно Амбросио, кумиру Мадрида, человеку, которого она особенно хотела уверить в строгости и благочестии своей обители! Слова не могли выразить ее ярость. Она молчала, бросая на распростертую монахиню злобные и угрожающие взгляды.



– Отведите ее в монастырь! – наконец приказала она своим приближенным.

Две пожилые монахини подошли к Агнесе, насильно подняли ее с пола и потащили к выходу из часовни.

– Как! – вдруг вскричала она и безумным усилием вырвалась из их рук. – Ужели нет более надежды? И вы влечете меня подвергнуть незамедлительной каре? Где ты, Раймонд? О, спаси меня, спаси! – Тут она бросила иступленный взгляд на аббата. – Слушай! – продолжала она. – Слушай, человек с каменным сердцем. Слушай, надменный, беспощадный и жестокий! Ты мог бы спасти меня, ты мог бы вернуть меня счастью и добродетели, но не пожелал! Ты погубитель моей души, ты мой убийца, и на тебя падет проклятие моей смерти и смерти моего нерожденного ребенка! Исполненный гордыни, ты в своей пока еще незапятнанной добродетели

тели остался глух к мольбам кающейся. Но Господь явит милосердие, в котором ты мне отказал. А в чем достоинство твоей хваленой добродетели? Какие искушения ты преодолел? Трус! Ты бежал от соблазнов, а не противостоял им! Но день испытания наступит! О! И вот тогда, когда ты уступишь неодолимым страстям, когда ты почувствуешь, что человек слаб и рожден заблуждаться, когда, содрогаясь, ты оглянешься на свои преступления и в ужасе будешь просить Бога о милосердии, о, в ту грозную минуту вспомни обо мне! Вспомни о своей жестокости! Вспомни Агнесу и отчайся получить прощение!

При этих последних словах силы оставили ее, и она в беспамятстве упала на руки стоявшей рядом монахини. Ее тотчас унесли из часовни, и остальные последовали за ней.

Амбросио выслушал ее упреки не с полным равнодушием. Сердце у него сжалось, и он почувствовал, что обошелся с несчастной слишком уж сурово. Поэтому он задержал настоятельницу и попробовал вступить за виновную.

– Бурность ее отчаяния, – сказал он, – доказывает, что порок не стал для нее привычным. Быть может, обойдясь с ней не столь строго, как положено, и несколько смягчив кару...

– Смягчив, отче? – перебила настоятельница. – Только не я, поверьте! Устав нашего ордена строг и суров, но долгое время некоторые правила оставались в небрежении, и преступление Агнесы показало мне, сколь необходимо неукоснительное их соблюдение. Я возвращаюсь к себе в обитель объявить о своем намерении, и Агнеса первой почувствует, что значит нарушать эти установления, кои будут выполнены во всей полноте. Прощайте, отче.

С этими словами она поспешила вон из часовни.

«Я исполнил свой долг», – подумал Амбросио, но мысль эта не вернула ему покой души. Чтобы отвлечься от тягостного впечатления, которое все случившееся произвело на него, он вышел из часовни и повернул на дорожку, ведущую к саду аббатства. Во всем Мадриде не нашлось бы другого столь прекрасного и столь ухоженного сада. Разбит он был с изящнейшим вкусом. Великолепные цветы ласкали взор разнообразием красок, и, хотя сажались они по тщательно обдуманному плану, казалось, будто так их расположила рука природы. Из мраморных чаш били фонтаны, охлаждая воздух танцующими брызгами, а ограду густо увили жасмин, виноград и жимолость. Красоту эту удваивал прозрачный сумрак, окутывавший сад. В безоблачном небе плыла полная луна, одевая деревья трепетным сиянием, в серебряных лучах струи фонтанов рассыпались жемчужинами. Легкий зефир овеивал аллеи благоуханием цветущих померанцев, а над искусственной чащей лилась песня соловья. Туда и направил аббат свои стопы.

В глубине этой рощицы прятался незатейливый грот, подобие пещеры отшельника. Стены были оплетены древесными корнями, а просветы между ними закрывали мох и плющ. Справа и слева находились две сложенные из дерна скамьи, со скалы естественным каскадом ниспадал ручеек. Все в той же задумчивости монах приблизился к гроту. Разлитое вокруг безмятежное спокойствие утишило его волнение, а вечерняя нега проникла в самое его сердце.

Он уже собрался войти в грот и отдохнуть там, как вдруг заметил, что на одной из скамей распростерся человек в позе неизбывной меланхолии. Голову он подпирал рукой и был словно погружен в глубочайшие размышления. Монах сделал шаг к нему и узнал Росарио. Остановившись у порога, он молча смотрел на юношу. Несколько минут спустя тот поднял глаза и печально устремил их на стену напротив.

– Да! – сказал он с глубоким жалобным вздохом. – Я вижу, сколь счастлив твой жребий и сколь горестен мой! Мысли я подобно тебе, какое счастье было бы мне даровано! Когда б судьба сподобила меня глядеть на род людской с отвращением и скрыться в безлюдной глуши, забыв, что в мире есть те, кто достоин любви! О боже! Сколь сладостным даром была бы для меня мизантропия!

– Какая странная мысль, Росарио! – сказал настоятель и вошел в грот.

– Вы здесь, святой отец? – вскричал послушник.

И, в смятении вскочив со скамьи, торопливо опустил капюшон на лицо. Амбросио расположился на дерновой скамье и усадил юношу подле себя.

– Негоже пестовать в сердце склонность к меланхолии, – сказал он. – Что могло представить тебе в столь благоприятном свете мизантропию, самое мерзкое из чувств?

– Чтение вот этих стихов, отче, коих до сих пор я не замечал. Яркость лунного света позволила мне разобрать строки, и – о! – как я завидую писавшему их!

И он указал на мраморную плиту, вделанную в противоположную стену. Насечены на ней были следующие строфы.

Надпись в приюте отшельника
Ты, что читаешь надпись эту,
Узнай, не совести мученья
Меня навек подвигли свету
«Прости» сказать.
И в пустыни уединенья
В тоске искать.

Мир бросил я по доброй воле:
Гордыне, злобе, плотской страсти
И знать, и чернь все боле, боле
Там преданы.
Увидел торжество я власти
Сил Сатаны.

Червем сердца там зависть гложет,
Там люди все – рабы порока,
Там лишь безумец верить может
Любви и чести.
Ждать смертного не стал я срока
Там с ними вместе.

Мне меланхолия, веселье
И все соблазны жизни прежней
Равно чужды. В подземной келье
Дни провожу,
Молясь, трудясь – и безмятежней
На мир гляжу.

Не роскошь, а покой и вера,
Иного сердце и не хочет.
Мне тесная моя пещера
Милей дворца.
Лишь об одном я дни и ночи
Молю Творца:
«Дай в чистоте мне жить безгрешно,

Страстями душу не пятная,

Над искушениями успешно
Брать верх в борьбе.
И дай сказать мне, умирая:
Иду к Тебе!»

Коль юн ты, путник, и сомненьем
Не удручен еще, прочтешь ты
С беспечным смехом и презреньем
Мою мольбу.
Но если в горести клянешь ты
Свою судьбу,

Иль ты познал любви мученья,
Иль милости не чаешь в Небе,
Иль тяготят тебя гоненья
Судьбины злой,
О, как тебе завиден жребий
Быть должен мой!

– Если бы человек и вправду мог быть настолько поглощен собой, – сказал монах, – что жил бы в полном уединении и все же испытывал безмятежное спокойствие, коим полны эти строки, я согласился бы, что такая жизнь предпочтительнее суеты мира, полного порока и всяческих безумств. Но, увы, подобное недостижимо. Надпись эту начертали здесь просто для украшения, и чувства, ее преисполняющие, столь же воображаемы, как и сам отшельник. Человек рожден для общества. Как ни далек он от мира, он не способен совсем его забыть, а быть забытым миром для него не менее невыносимо. Исполняясь отвращения к греховности и глупости рода людского, мизантроп бежит его. Он решает стать отшельником и погребает себя в пещере на склоне какой-нибудь мрачной горы. Пока ненависть жжет ему грудь, возможно, он находит удовлетворение в своем одиночестве, но, когда страсти охладятся, когда время смягчит его печали и исцелит старые раны, думаешь ли ты, что спутницей его станет безмятежная радость? Нет, Росарио, о нет! Более не укрепляемый силой своих страстей, он начинает сознавать однообразие своего существования, и сердце его преисполняется тягостной скукой. Он смотрит вокруг себя и убеждается, что остался совсем один во вселенной. Любовь к обществу воскресает в его груди, он тоскует по миру, который покинул. Природа утрачивает в его глазах все свое очарование. Ведь ему указать на ее красоты некому, никто не разделяет с ним восхищения перед ее прелестями и разнообразием. Опустившись на обломок скалы, он созерцает водопад рассеянным взором. Он равнодушно смотрит на великолепие заходящего солнца. Вечером он медлит с возвращением в свою келью, ибо никто не ожидает его там. Одинокая невкусная трапеза не доставляет ему удовольствия. Он бросается на постель из мха унылый и расстроенный, а просыпается для того лишь, чтобы провести день, такой же безрадостный и однообразный, как предыдущий.

– Вы изумляете меня, отче! Предположим, обстоятельства обрекли бы вас на одиночество, так неужели религиозные обязанности и мысль о праведно прожитой жизни не преисполнили бы ваше сердце той безмятежностью, коей...

– Я обманывал бы себя, полагая, будто они послужили бы мне утешением. Я убежден в обратном, а также в том, что моя стойкость навряд ли уберегла бы меня от горького разочарования и меланхолии. Знал бы ты, какое удовольствие я, проведя день в занятиях, получаю,

выходя вечером к братии! Я не в силах описать тебе радость, доставляемую мне видом человеческого лица! Вот в этом, мнится мне, и заключен главный смысл учреждения монастырей. Монастырь оберегает человека от соблазнов порока, дает ему досуг, необходимый для достойного служения Всевышнему, избавляет от тягостной необходимости наблюдать, как грешат поклонники суетности, и в то же время не мешает наслаждаться обществом себе подобных. А ты, Росарио, завидуешь ли ты жизни отшельника? Ужели ты слеп к преимуществам своего нынешнего положения? Поразмысли! Аббатство это стало твоим прибежищем; твоё усердие, твоя кротость, твои таланты снискали тебе всеобщее уважение. Ты укрыт от мира, по твоим словам, тебе ненавистного, и тем не менее тебе доступны все блага, даримые обществом, да притом обществом, состоящим из достойнейших людей.

– Отче! Отче! В том-то и источник моих мук! Мне было бы счастьем, если бы моя жизнь влачилась среди порочных и нераскаянных! О, если бы я не знал даже слова «добродетель»! Ведь как раз мое безграничное благоговение перед религией, безмерная чувствительность моей души к красоте всего высокого и благого – как раз они преисполняют меня стыдом, влекут к гибели! О, если бы я никогда не видел этого монастыря!

– Как так, Росарио? В последнем нашем разговоре ты говорил иное. Или моя дружба утратила цену? Если бы ты никогда не видел этого монастыря, то и меня ты не увидел бы. Разве ты этого желаешь?

– Никогда не увидел бы вас? – повторил послушник, стремительно поднявшись со скамьи и с видом отчаяния схватывая руку монаха. – Вас? Вас? Клянусь Богом, лучше бы молния выжгла мои глаза до того, как они увидели вас! Клянусь Богом, лучше бы мне больше никогда вас не видеть и забыть, что я вас видел!

С этими словами Росарио выбежал из грота. Амбросио же остался сидеть на скамье, дивясь странному поведению юноши. Он был склонен заподозрить умопомешательство, однако вся манера держаться, связность мыслей и спокойствие Росарио до мгновения, когда он покинул грот, казалось, опровергали такое заключение. Несколько минут спустя послушник вернулся. Он вновь опустился на скамью, подпер голову одной рукой, а другой утирал слезы, стекавшие по щекам.

Монах глядел на него с состраданием и не мешал его мыслям. Некоторое время оба хранили глубокое молчание. Соловей теперь перелетел на померанец, осенявший грот, и рассыпал над ним мелодичные трели, исполненные печали. Росарио поднял голову, внимая его песне.

– Вот так, – сказал он с глубоким вздохом, – вот так моя сестра в последний месяц своей злосчастной жизни сидела и слушала соловья. Бедная Матильда! Она спит в могиле, и ее разбитое сердце уже не бьется любовью!

– У тебя была сестра?

– Вы сказали верно: была! Увы, сестры у меня больше нет. В расцвете своей весны она не снесла гнета горестей.

– Каких же?

– В вас они жалости не пробудят. Вам неведома власть тех неотразимых, тех роковых чувств, жертвой которых было ее сердце. Отче, ее несчастьем стала любовь. Обожание человека, наделенного всеми добродетелями, доступными смертному, а вернее было бы сказать – божеству, стало ее проклятием. Его благородный облик, его безупречная слава, его многочисленные достоинства, его мудрость, глубокая, дивная, несравненная, могли бы воспламенить самую бесчувственную душу! Моя сестра увидела его и осмелилась полюбить, хотя не дерзала питать даже тени надежды...

– Но если она отдала любовь столь оправданно, почему же ей нельзя было надеяться на взаимность?

– Отче, до знакомства с ней Юлиан уже поклялся в верности невесте, невыразимо прекрасной, истинно небесной! И все же моя сестра полюбила и во имя мужа возлюбила и его

супругу. Она сумела ускользнуть из дома нашего отца и в скромной вдовьей одежде попросила места служанки у жены того, кому отдала сердце, и ее взяли. Теперь она постоянно видела его и старалась всячески угождать ему. Ее старания не остались бесплодными. Юлиан обратил на нее внимание. Добродетельные люди умеют быть благодарными, и он отличал Матильду среди прочей прислуги.

– Но разве ваши родители не пытались ее разыскивать? Ужели они безропотно смирились со своей потерей и не тщились вернуть пропавшую дочь?

– Прежде чем они преуспели в поисках, она возвратилась сама. Любовь ее достигла такой силы, что она уже не могла ее скрывать. Однако у нее и мысли не было назвать Юлиана своим, она жаждала лишь обрести место в его сердце, и в минуту неосторожности она призналась в своем чувстве. И каков же был результат? Обожая жену, веря, что взгляд жалости, обращенный на другую, это кража того, что принадлежит ей, он прогнал Матильду и запретил ей являться ему на глаза. Его суровость разбила ей сердце, она вернулась к отцу, и несколько месяцев спустя мы отнесли ее на кладбище!

– Несчастная девушка! Судьба ее была непомерно тяжелой, а Юлиан чрезмерно жесток.

– Вы так думаете, отче? – с живостью воскликнул послушник. – Вы думаете, что он был жесток?

– Да, я так думаю и всем сердцем жалею ее.

– Вы жалеете ее? Вы жалеете ее? Ах, отче! Отче! Так сжальтесь и надо мной!

Монах недоуменно посмотрел на послушника, и тот, помолчав, запинаясь, продолжал:

– Ибо мои страдания даже сильнее, чем ее. У моей сестры была подруга, истинная подруга, сострадавшая бурности ее чувств, не упрекавшая ее за неспособность сдержать их. А у меня... у меня нет друга. Во всем широком мире не найдется сердца, чтобы разделить мою печаль!

Произнеся эти слова, он зарыдал. Монах был тронут. Он взял руку Росарио и нежно ее пожал.

– Ты говоришь, что у тебя нет друга? Но в таком случае кто же я? Почему ты не доверишься мне, чего ты боишься? Моей строгости? Но был ли я хоть раз строг с тобой? Моих одежд? Росарио, посмотри на меня не как на монаха, но как на своего друга, своего отца. Я могу назваться так, ибо ни один родитель не оберегал свое дитя с большей нежностью, нежели я тебя. Едва тебя увидев, я ощутил в груди чувство, дотоле мне незнакомое. В твоём обществе я находил приятность, какую ничье другое мне не доставляло, а когда я убеждался в силе твоего гения и обширности знаний, то радовался, как радуется отец успехам сына. Так отбрось же страхи, говори со мной откровенно, Росарио, и скажи, что доверишься мне. Если моя помощь или жалость могут облегчить твою печаль...

– Твои могут! Только твои! Ах, отче, с какой охотой я открыл бы тебе свое сердце! С какой охотой признался бы в тайне, гнетущей меня. Но я боюсь! О, как я боюсь!

– Чего, сын мой?

– Что вы отринете меня за мою слабость, что наградой за мое доверие будет потеря ваших добрых чувств ко мне.

– Как мне тебя разуверить? Подумай о всем прошлом моем поведении с тобой, об отеческой привязанности, которую я тебе всегда выказывал. Отринуть тебя, Росарио? Это более не в моей власти. Лишиться твоего общества – значит утратить величайшее удовольствие в моей жизни. Так открой мне, что тебя гнетет, и поверь, когда я торжественно поклянусь...

– Остановитесь! – прервал послушник его речь. – Дайте клятву, что, в чем бы ни заключалась моя тайна, вы не понудите меня оставить монастырь, пока не истечет срок моего послушничества.

– Обещаю. И сдержу клятву, данную тебе, как да исполнит Христос обещанное роду человеческому. Ну а теперь открой эту тайну и положишься на мою снисходительность.

– Я повинуюсь. Так знайте же... О, как я трепещу произнести это слово! Выслушайте меня с жалостью, высокочтимый Амбросио! Отыщите в себе все еще тлеющие искорки человеческой слабости, чтобы они научили вас состраданию к моей! Отче! – продолжал он, бросаясь к ногам монаха и прижимая его руку к губам, не в силах от волнения совладать со своим голосом. – Отче, – повторил он, запинаясь, – я женщина!

Аббат вздрогнул от столь неожиданного признания. Ложный Росарио лежал распростертый на земле, точно ожидая в молчании приговора судьи. Изумление одного, страх другой на несколько минут заставили их окаменеть, точно к ним прикоснулся жезл волшебника. Наконец, оправившись от замешательства, монах покинул грот и торопливым шагом направился к выходу из сада. Его движение не укрылось от молящей. Она вскочила и, поспешив за ним, обогнала и упала перед ним, обняв его колени. Амбросио тщетно пытался освободиться от ее рук.

– Не беги от меня! – вскричала она. – Не покидай меня на волю отчаяния! Выслушай оправдания моего неразумия, узнай, что история моей сестры – это моя история. Я Матильда, а ты – ее возлюбленный!

Как ни ошеломило Амбросио ее первое признание, второе поразило его даже еще больше. Потрясенный, смущенный, растерянный, он не мог выговорить ни слова и стоял, молча глядя на Матильду. Она воспользовалась этим, чтобы продолжить свои объяснения.

– Не думай, Амбросио, что я явилась отнять твою любовь у твоей невесты. Нет, поверь мне! Лишь Церковь достойна тебя, и Матильда даже помыслить не смеет о том, чтобы помешать тебе следовать путем добродетели. Чувство, которое я питаю к тебе, – это любовь, а не страсть. Я вздыхаю о месте в твоём сердце, а не томлюсь от жажды разделить с тобой наслаждение. Снизойди выслушать мои оправдания. Несколько мгновений – и ты убедишься, что мое присутствие не осквернило это святое место и что ты можешь подарить мне свое сострадание, не нарушив свои обеты... – Она села, и Амбросио, не замечая, что делает, последовал ее примеру. Она же сказала: – Я происхожу из знатной семьи: мой отец принадлежал к благородному дому Вильянегас. Он скончался еще в дни моего младенчества и оставил меня единственной наследницей всех своих несметных богатств. Ко мне, молодой, богатой, сватались знатнейшие юноши Мадрида, но ни одному из них не удалось завоевать мое сердце. Я росла под опекой дяди, человека весьма мудрого и очень ученого. Ему доставляло удовольствие приобщать меня к своим познаниям. Его наставления помогли моему уму обрести способность к большей глубине и верности суждений, чем обычно свойственно моему полу. Умение моего наставника и моя природная любознательность помогли мне значительно продвинуться не только в науках, которые изучаются всеми, но и в тех, которые доступны лишь немногим, ибо слепое суеверие осуждает их. Но, расширяя сферу моих знаний, мой опекун тщательно прививал мне нравственные понятия. Он избавил меня от оков вульгарных предрассудков, открыл мне красоту Веры, научил преклоняться перед чистыми и добродетельными, а я – горе мне! – слишком хорошо усвоила его уроки.

Так суди сам, могла ли я взирать иначе, как с отвращением, на порочность, распущенность и невежество, кои пятнают нашу испанскую молодежь. Я отвергала все предложения с пренебрежением. Мое сердце оставалось без владыки, пока случайность не привела меня в церковь капуцинов. О, конечно, в этот день мой ангел-хранитель дремал, забыв о своей овечке. В этот день я впервые увидела тебя. Ты замещал настоятеля, которому болезнь не позволила встать с одра. Ты не можешь не вспомнить, какой живой восторг вызвала твоя проповедь. О, как впивала я каждое твое слово! Как твое красноречие словно похищало меня у меня же самой! Я боялась дышать, чтобы не упустить хотя бы слога, и, пока ты говорил, мне мнилось блеск дивных лучей вокруг твоей головы, а твое лицо сияло божественным величием. Я вышла из церкви в экстазе. С этой минуты ты стал кумиром моего сердца, неизменным средоточием всех моих помыслов. Я расспрашивала о тебе, и все, что узнала о твоём образе жизни, учености, благочестии и строгости к себе, заклепало цепи, наложенные на меня твоим вдохновенным

красноречием. Я обнаружила, что пустота в моем сердце заполнилась, что я нашла человека, которого так долго и тщетно искала. В надежде вновь тебя услышать я каждодневно посещала вашу церковь, но ты не покидал стен аббатства, и я удалялась в тоске и разочаровании. Ночь бывала добрее ко мне, ибо ты представлял предо мною в моих сновидениях. Ты клялся мне в вечной дружбе, ты вел меня по путям добродетели и помогал мне переносить жизненные невзгоды. Утро рассеивало эти сладостные видения, я просыпалась и вспоминала, что нас разделяет стена, непреодолимая стена! Но это лишь усугубляло силу моего чувства, мной все более овладевали меланхолия и уныние, я бежала общества и чахла день ото дня. Наконец, не в силах долее сносить эту пытку, я решилась надеть личину, в которой ты меня узнал. Хитрость моя удалась, меня приняли в монастырь, и мне удалось завоевать твоё расположение.

И я была бы счастлива вполне, если бы не постоянный страх разоблачения. Радость, приносимую мне твоим обществом, омрачала мысль, что, быть может, я скоро буду его лишена, и сердце мое так ликовало при малейшем свидетельстве твоей дружбы, что потерю ее, как я вскоре поняла, мне было не пережить. Поэтому я решила не ждать, когда случайность откроет мой пол, но признаться тебе во всем и воззвать к твоему милосердию и снисходительности. Ах, Амбросио, ужели я обманулась? Ужели ты не столь великодушен, чем я мнила тебя? О нет, я и помыслить не могу о таком. Ты не ввергнешь несчастную в пучину отчаяния, и мне по-прежнему будет дозволено видеть тебя, беседовать с тобой, нести тебе дань преклонения! Твои добродетели останутся примером мне до конца моих дней, а когда мы скончаемся, тела наши упокоятся в одной могиле!

Она умолкла. Пока длилась ее речь, в груди Амбросио боролась тысяча противоположных чувств. Изумление, рожденное неожиданностью, смущение при внезапном ее признании, негодование из-за дерзости, с какой она проникла в монастырь в одеянии послушника, сознание, что ему надлежит дать ей суровейшую отповедь, – вот чувства, которые он сознавал. Но к ним примешивались другие, и в них он не отдавал себе отчета. Он не замечал, как льстили его тщеславию хвалы, расточавшиеся его красноречию и добродетельности; не замечал тайной радости, вызванной мыслью, что молодая и, видимо, красивая девица ради него покинула свет и все иные свои привязанности принесла в жертву страсти к нему. И уж вовсе он не заметил, что сердце его воспламенялось желанием, когда белоснежные пальцы Матильды нежно пожимали его руку.

Мало-помалу он оправился от первого смятения. Мысли его упорядочились, и он ни на миг не усомнился, что разрешить Матильде остаться в монастыре после ее признания было бы неслыханным непотребством. Он принял строгий вид и вырвал у нее свою руку.

– Как, девица, – сказал он, – ужели ты и вправду уповаешь получить мое разрешение остаться с нами? Но даже исполни я твою просьбу, какая тебе была бы от этого польза? Не думаешь же ты, что я когда-либо отвечу взаимностью на привязанность, которая...

– Нет, отче, нет! Я и в мыслях не держу пробудить в тебе любовь, подобную моей. Я ищу только дозволения быть подле тебя, проводить несколько часов с тобой, обрести твое сострадание, дружбу, уважение. Так ли уж неразумна моя просьба?

– Подумай сама, девица! Подумай, сколь непристойно было бы мне приютить в монастыре женщину, да к тому же женщину, признавшуюся в любви ко мне. Это невозможно. Слишком велика опасность, что ты будешь изобличена, да и я не хочу подвергать себя такому грозному искушению.

– Искушению, сказал ты? Но забудь, что я женщина, и я перестану ею быть. Считаю меня только другом, злополучным существом, чье счастье, чья жизнь зависят от твоего покровительства. Не страшись, что я напому тебе сама о том, как любовь, самая властная, самая беспредельная, понудила меня скрыть мой пол, не страшись, как бы я не поддавалась желаниям, несовместимым с твоими обетами и с моей честью, и не попробовала соблазном свести тебя с пути истинного. Нет, Амбросио, узнай меня лучше. Я люблю тебя за твои добродетели. Лишись

их – и ты лишишься моей любви. Я вижу в тебе святого. Докажи мне, что ты лишь человек, и я с омерзением тебя оставлю. Меня ли ты считаешь искусительницей? Меня, в ком все мирские радости вызывали лишь пренебрежение? Меня, чья приязнь опирается на то, что ты свободен от человеческих слабостей? О, откинь оскорбительные опасения. Думай возвышенной обо мне, думай возвышеннее о себе. Я не способна соблазнить тебя, и уж конечно, твоя добродетельность устоит перед запретными желаниями. Амбросио, милый Амбросио, не гони меня от себя. Вспомни свое обещание и разреши мне остаться.



– Нельзя, Матильда. Но отказать тебе я должен и ради тебя самой, ибо трепещу за тебя, а не за себя. Победив пылкие желания младости, проведя тридцать лет в умерщвлении плоти и покаянии, я мог бы без опасений позволить тебе остаться, не страшась, что ты пробудишь во мне чувство более горячее, чем жалость. Но для тебя, если ты останешься в аббатстве, это может иметь лишь самые роковые последствия. Ты будешь превратно истолковывать каждое мое слово, каждый поступок. Будешь с жадностью высматривать любое обстоятельство, которое поддержит твою надежду на взаимность. Незаметно страсти возьмут верх над рассудком, и мое присутствие не только не будет их сдерживать, но, напротив, каждая минута, проводимая нами вместе, начнет возбуждать и распалать их. Поверь мне, злополучная девица, я искренне тебе сострадаю и убежден, что до сих пор тобой руководили самые чистые побуждения. Однако если ты слепа к неразумию своего поведения, то велика была бы моя вина, если бы я не открыл тебе глаза на него. Долг повелевает мне обойтись с тобой сурово. Мне надлежит отвергнуть твои мольбы и отнять даже тень надежды, которая вскармливает чувства, столь губительные для твоего покоя. Матильда, ты должна удалиться отсюда завтра же.

– Завтра, Амбросио? Завтра? О, ты не можешь этого потребовать! Ты не решишься обречь меня отчаянью! Ты не будешь столь жесток...

– Ты слышала мое решение и должна ему повиноваться. Устав нашего ордена не позволяет тебе остаться тут. Укрывать женщину в этих стенах – значит нарушить устав, и мой обет вынудит меня поведать твою историю всей братии. Ты должна уйти отсюда. Я жалею тебя, но сделать ничего не могу.

Последние слова он произнес слабым, дрожащим голосом. Затем, поднявшись, он хотел уйти, но Матильда, испустив громкий крик, кинулась за ним и остановила его.

– погоди еще миг, Амбросио! Дай мне сказать еще одно слово!

– Я не смею слушать! Посторонись! Ты знаешь мое решение.

– Но лишь одно слово! Одно последнее, и я кончу.

– Оставь меня. Твои просьбы напрасны! Ты должна удалиться отсюда завтра же!

– Так иди же, безжалостный варвар! Но мне еще остается одно средство!

Сказав это, она внезапно выхватила кинжал и, разорвав одеяние послушника, приставила острие к груди.

– Отче, живой я эти стены не покину!

– Остановись, Матильда! Остановись! Что ты задумала?

– Ты тверд, но и я тверда. В тот миг, когда ты оставишь меня, я вонжу эту сталь прямо в сердце.

– Святой Франциск! Матильда, в себе ли ты? Сознаешь ли ты последствия такого поступка? Помнишь ли, что самоубийство – величайшее преступление? Что ты губишь свою душу? Что отказываешься от надежды на спасение? Что обрекаешь себя на вечные муки?

– Мне все равно! Мне все равно! – ответила она страстно. – Либо в рай меня приведет твоя рука, либо моя принесет мне погибель! Амбросио, скажи мне! Скажи, что я останусь твоим другом, твоей собеседницей, или этот кинжал напьется моей кровью!

И она подняла руку, словно готовясь поразить себя. Глаза монаха с ужасом следили за смертоносным движением кинжала. Он опустил на левую грудь, полуобнажившуюся, когда Матильда разорвала одеяние послушника. О, какая это была грудь! Лунный свет ложился на нее, и монах видел ее ослепительную белизну. Его взор с ненасытной жадностью впивался в эту прекрасную полусферу. Неведомое дотоле чувство преисполняло его сердце тревогой и восторгом. Жгучий огонь пробежал по всем членам, кровь закипала в жилах, тысяча необузданных желаний воспламеняла его воображение.

– Остановись! – вскричал он торопливо, запинаясь голосом. – Я не могу доле противиться! Так оставайся, чародейка! Оставайся на мою погибель!

С этими словами он покинул сад и скрылся в дверях монастыря. У себя в келье он бросился на постель, растерянный, ошеломленный, в глубоком смятении.

Долгое время ему не удавалось собраться с мыслями. Случившееся возбудило в его груди столько разнообразных чувств, что он не мог понять, какое преобладало. Он не знал, как вести себя с нарушительницей его покоя. Он понимал, что осмотрительность, религия и приличия требуют, чтобы она покинула монастырь. Но, с другой стороны, столь властные причины требовали не изгонять ее, что он был более чем склонен разрешить ей остаться. Ему не могло не польстить признание Матильды, как и сознание, что он, сам того не зная, покорило сердце, устоявшее перед атаками самых благородных кавалеров Испании. Приятен его тщеславию был и способ, которым он завоевал ее любовь. Он вспомнил многие счастливые часы, проведенные в обществе Росарио, и страшился пустоты в сердце, неминуемо ожидающей его в разлуке. Вдобавок ко всему он припомнил, что Матильда богата и ее расположение могло оказаться весьма полезным монастырю.



– И чем я рискую, позволив ей остаться? – сказал он себе. – Разве я не могу без сомнений положиться на ее заверения? Разве мне так трудно забыть ее пол и по-прежнему видеть в ней

друга и ученика? Конечно же, ее любовь чиста, как она утверждает. Будь это лишь сладострастие, ужели она так долго его таила бы? Ужели не прибегла бы к какому-либо средству найти ему удовлетворение? А она поступала прямо наоборот: пыталась скрыть от меня свой пол, и открыть тайну ее принудили лишь страх разоблачения и мои настояния. Она соблюдала все религиозные обряды с не меньшей строгостью, чем я. Она и не пыталась пробудить дремлющие во мне страсти и до этого вечера никогда не заговаривала со мной о любви. Будь ее целью снискать мою нежность, а не уважение, она не стала бы так тщательно таить от меня свои прелести. Я до сих пор не видел ее лица, а оно должно быть прекрасно, ведь она, несомненно, красавица, если судить по ее... по тому, что я увидел.

Когда у него промелькнула эта мысль, его щеки залил жаркий румянец стыда. Испугавшись чувств, которым он поддался, Амбросию обратился к молитве. Встав с постели, он опустился на колени перед красавицей Мадонной и умолял ее помочь ему избавиться от столь грешных чувств. Потом он снова лег и предался сну.

Он проснулся весь в жару и неосвеженный. Во сне воображение являло ему лишь самые сладострастные предметы. В сновидениях перед ним стояла Матильда, и его глаза вновь созерцали ее обнаженную грудь. Она повторила свои заверения в вечной любви, обвила руками его шею и осыпала поцелуями. Он отвечал на них, он пылко прижал ее к своему сердцу, и... и сновидение рассеялось. Иногда ему чудилось изображение его Мадонны – будто он стоит перед ним на коленях и произносит обеты, а глаза картины словно излучают невыразимую нежность. Он прижал губы к нарисованным губам, и они оказались теплыми. Ожившая фигура сошла с холста, с любовью открыла ему объятия, и его чувства не вынесли столь несравненного блаженства. Вот на каких сценах сосредоточивались его сонные мысли. Неудовлетворенные желания рисовали ему самые сладострастные и соблазнительные образы, он буйно наслаждался радостями, дотоле ему неизвестными.

С постели он поднялся полный смятения от воспоминаний о своих сонных грезах, и стыд его усугубился, едва он задумался о причинах, побудивших его накануне ночью дать Матильде разрешение остаться. Он содрогнулся, узрев свои доводы в истинном свете, и обнаружил, что стал рабом лести, алчности и себялюбия. Если всего за час Матильда сумела вызвать такую разительную перемену в его чувствах, так какие же опасности будут подстерегать его, если она останется в аббатстве? Зная теперь, что ему угрожает, очнувшись от дурмана доверчивости, он решил настоять на ее немедленном отъезде. У него возникали подозрения, что искушение может оказаться слишком сильным. Пусть Матильда ни в чем не преступит пределы целомудрия, но устоит ли он под натиском тех страстей, от которых самонадеянно считал себя свободным?

– Агнеса! Агнеса! – воскликнул монах, размышляя над своим тяжким положением. – Твое проклятие уже сбывается!

Он покинул келью с твердым намерением отослать лже-Росарио и направился в часовню к заутрене. Однако мысли его были далеко, и службу он отстоял в рассеянии. Сердце и голова у него равно были заняты суетными предметами, и молитвам его недоставало истинного благочестия. Затем он спустился в сад и поспешил к тому месту, где накануне сделал это тягостное открытие. Он не сомневался, что Матильда будет искать его там, и оказался прав. Вскоре она вошла в грот и боязливо приблизилась к нему. Несколько мгновений оба молчали, а потом она, казалось, хотела робко заговорить, однако аббат, собрав всю свою решимость, перебил ее. Он опасался чар ее мелодичного голоса, хотя еще не испытал всю их силу.

– Сядь подле меня, Матильда, – сказал он с твердостью на лице, хотя старательно избегал даже намек на суровость. – Выслушай меня терпеливо и поверь, говорю я это столько же ради тебя, сколько ради себя. Поверь, я питаю к тебе теплейшую дружбу, истиннейшее сострадание, и горесть моя не уступит твоей, когда я скажу, что больше мы не должны видеться. Никогда.

– Амбросию! – вскричала она голосом, полным и удивления, и печали.

– Успокойся, мой друг, мой Росарио! Разреши мне все еще называть тебя этим именем, столь дорогим мне. Наша разлука неизбежна. Я краснею, признаваясь, как чувствительно она меня ранит. Но тем не менее другого быть не может. Я чувствую, что не способен обходиться с тобой равнодушно, и это убеждение как раз и заставляет меня настаивать, чтобы ты удалилась из монастыря. Матильда, ты не должна здесь больше оставаться.

– О! Где же теперь искать мне чистоты духа? Отвратись от коварного мира, в каких счастливых пределах прячется теперь Истина? Отче, я уповала обрести ее здесь, я думала, что твоя грудь – ее избранное святилище. Но и ты оказался обманщиком? О боже! И ты тоже можешь предать меня?

– Матильда!

– Нет, отче, нет! Упреки мои справедливы. О! Где твои обещания? Срок моего послушания еще не кончился, и все же ты вынуждаешь меня покинуть монастырь? У тебя достанет сердца прогнать меня от себя? Но разве ты не дал мне торжественную клятву, утверждающую обратное?

– Я не стану вынуждать тебя покинуть монастырь. Я дал тебе клятву, утверждающую обратное. Но когда я взываю к твоему великодушию, когда я объясняю тебе тягостное положение, в которое ставит меня твое присутствие здесь, ужели ты не освободишь меня от этой клятвы? Подумай об опасности, что правда откроется, о негодовании и осуждении, которое это навлечет на меня. Вспомни, что речь идет о моей чести и доброй славе, что мой душевный мир зависит от твоего согласия. Пока мое сердце свободно. Я расстанусь с тобой, сожалея, но без отчаяния. Останься здесь, и несколько недель принесут мое счастье в жертву на алтаре твоих чар. Ты ведь так привлекательна, так хороша! Я полюблю тебя! Буду обожать! Грудь мне будут раздирать желания, которым честь и мой сан не позволяют уступить. Но если я буду им противиться, их сила сведет меня с ума, а если я уступлю соблазну, то принесу в жертву мгновению грешного наслаждения свою добрую славу в этом мире и спасение в том. И я прибегаю к тебе, ища защиты от себя самого. Помешай мне потерять награду за тридцать лет страданий! Помешай мне стать жертвой угрызений нечистой совести! Твое сердце уже познало муку безнадежной любви. О! Если я правда тебе дорог, спаси мое сердце от такой же муки. Верни мне мое обещание! Покинь эти стены! Беги – и ты унесешь с собой теплейшие мои молитвы о твоём счастье, мою дружбу, мое уважение и восхищение. Останься – и ты превратишься для меня в источник опасности, страданий, несчастья! Отвечай же, Матильда, что ты решила?

Она молчала.

– Ты не хочешь говорить, Матильда! Ты не скажешь, что ты выбираешь?

– Жестокий! Жестокий! – вскричала она, в агонии ломая руки. – Ты знаешь, что не оставил мне выбора! Ты знаешь, что у меня нет воли, кроме твоей!

– Значит, я не обманулся? Благородство Матильды равно моим ожиданиям!

– Да. Я докажу истинность моей любви, подчинившись приговору, который поражает меня в самое сердце. Я возвращаю тебе твое обещание и сегодня же покину монастырь. У меня есть родственница – аббатиса монастыря в Эстремадуре. К ней направлюсь я и навеки затворюсь от мира. Но ответь мне, отче, унесу ли я в мое заточение твои добрые пожелания? Будешь ли ты порой отрываться от размышления о Божественном и уделять мне мысль-другую?

– Ах, Матильда! Боюсь, я буду думать о тебе слишком часто для моего душевного покоя!

– Тогда мне больше нечего желать, кроме одного: чтобы мы могли встретиться на Небесах. Прощай, мой друг! Мой Амбросио!.. Нет, мне все же хотелось бы унести с собой какой-нибудь знак твоего расположения!

– Но что мне дать тебе?

– Что-нибудь... что угодно. Одного цветка с этого куста будет довольно! – Тут она указала на розовый куст, посаженный возле входа в грот. – Я спрячу его у себя на груди, и, когда умру, монахини найдут его увядшим на моем сердце.

Монах был не в силах ответить. Душа его исполнилась горести, и, медленно ступая, он вышел из грота, приблизился к кусту и наклонился сорвать розу. Внезапно он испустил пронзительный вопль, отшатнулся и уронил сорванный цветок. Услышав крик, Матильда в тревоге поспешила к нему.

– Что случилось? – воскликнула она. – Ради бога, ответь! Что с тобой?

– Я встретил мою смерть! – ответил он слабеющим голосом. – Укрывшись среди роз... змея...

Тут боль в укушенной руке достигла того предела, которого человеческая природа выдержать не может, сознание его помрачилось, и он без чувств упал на руки Матильды.

Отчаяние ее было неопишным. Она рвала на себе волосы, била себя в грудь и, не решаясь оставить Амбросио, громкими воплями призывала на помощь. Наконец несколько братьев, встревоженные ее криками, поспешили в сад, и настоятеля перенесли в его келью. Его немедленно уложили в постель, и монах-врачеватель приготовился осмотреть укушенную руку. К этому времени она необыкновенно распухла. Его напоили целебными отварами, и к нему вернулась жизнь, но не рассудок. Он тяжело бредил, на его губах клубилась пена, и четверо самых сильных монахов с трудом удерживали его в постели.

Отец Паблос, как звали лекаря, торопливо исследовал укус. Монахи столпились у постели, с тревогой ожидая его приговора. Среди них лже-Росарио более других предавался горю. Он смотрел на страдальца с невыразимой мукой, а вырывавшиеся из его груди стоны выдавали силу бушевавших его чувств.

Отец Паблос углубил ранку. Когда он извлек ланцет, кончик его оказался зеленым. Скорбно покачав головой, отец Паблос отошел от кровати.

– Как я и боялся, – сказал он. – Надежды нет.

– Надежды нет? – в один голос воскликнули монахи. – Ты сказал, что надежды нет?

– Столь быстрое действие яда, решил я, указывает, что аббат был укушен съентипедоро¹¹. Яд, который вы видите на моем ланцете, подтверждает мое подозрение. Он не проживет и трех дней.

– И никакого противоядия нет? – спросил Росарио.

– Он может выздороветь, только если яд будет извлечен, а как его извлечь – для меня тайна. Я могу лишь прикладывать к ране травы, смягчающие боли. Страдалец придет в себя, но яд испортит ему всю кровь, и через три дня его жизнь угаснет.

Этот приговор вверг всех в глубокое горе. Паблос, как обещал, наложил на рану повязку и удалился с остальными монахами. В келье остался один Росарио, заботам которого по его настоянию поручили аббата. Бред и метания совсем истощили силы Амбросио, он погрузился в глубокое забытие и почти не подавал признаков жизни. Когда монахи вернулись узнать, не произошли ли какие-нибудь перемены, они нашли его все в том же положении. Паблос снял повязку более из любопытства, чем в надежде обнаружить благоприятные симптомы. Каково же было его изумление, когда он обнаружил, что воспаление прошло бесследно! Он проверил запястье и извлек ланцет чистым и светлым. Никаких следов яда не обнаружилось, а ранка, оставленная укусом, затянулась без следа. Паблос даже усомнился, была ли она.

¹¹ Полагают, что съентипедоро – уроженец Кубы и попал в Испанию с этого острова на корабле Колумба. – *Примеч. автора.*



Он сообщил все это братьям, и восторг их мог бы сравниться разве что с их удивлением. Однако последнее быстро исчезло, едва они объяснили случившееся на свой лад, окончательно убедившись, что их настоятель – святой, а значит, святой Франциск, как и надо было ожидать, сотворил ради него чудо. К такому выводу пришли все и провозглашали его с таким жаром и громкостью: «Чудо! Чудо!» – что скоро прервали сон Амбросио.

Монахи тотчас столпились у его ложа, выражая радость по поводу его дивного исцеления. Он был в полном рассудке, не чувствовал ни малейшей боли и пожаловался только на чрезвычайную слабость и вялость. Паблос дал ему выпить укрепляющего настоя и посоветовал два дня не вставать с постели. Затем он удалился, объявив, что больной не должен утомлять себя разговорами и ему следует снова заснуть. Остальные монахи последовали за ним, и аббат остался наедине с Росарио вдаль от посторонних глаз.

Несколько минут Амбросио смотрел на свою сиделку с радостью и тревогой. Она сидела подле его постели, склонив голову и, как всегда, низко опустив на лицо капюшон.

– Так ты еще здесь, Матильда? – сказал наконец монах. – Тебе мало подвергнуть мою жизнь такой опасности, что лишь чудо спасло меня от могилы? О, несомненно, Небеса послали эту змею покарать...

Матильда принудила его замолчать, с веселым видом заградив его уста ладонью.

– Т-ш-ш, отче! Т-ш-ш! Тебе нельзя разговаривать.

– Тот, кто наложил этот запрет, не знал, как важны для меня предметы, о которых я хочу говорить.

– Но я знаю. И налагаю тот же запрет. Мне поручено выхаживать тебя, и ты должен исполнять мои распоряжения.

– Ты весела, Матильда!

– И у меня есть на то право. Мне только что была дарована радость, какой я не ведала прежде.

– Какая же?

– Такая, какую я должна скрывать ото всех и особенно – от тебя.

– Особенно от меня? Нет, Матильда, я настаиваю...

– Т-ш-ш, отче! Т-ш-ш! Тебе нельзя разговаривать. Но если сон бежит от тебя, может быть, сыграть тебе на арфе?

– Как? Я не знал, что ты осведомлена и в музыке.

– Ах, я играю дурно. Но тебе велено двое суток хранить молчание, и, может быть, моя музыка развлечет тебя, когда ты устанешь от размышлений. Я схожу за арфой.

Она скоро вернулась с инструментом и спросила:

– Так что же мне спеть тебе, отче? Не хочешь ли послушать балладу о Дурандарте, доблестном рыцаре, который пал в знаменитой Ронсевальской битве?

– Как угодно тебе, Матильда.

– О, не называй меня Матильдой! Называй меня Росарио, называй своим другом! Вот имена, которые мне дороги в твоих устах! Так слушай же!

Она настроила арфу и сыграла небольшую прелюдию с величайшим вкусом, доказывавшим, что она в совершенстве владеет этим инструментом. Мотив был гармоничным и грустным. Слушая, Амбросио ощутил, как рассеивается его тревога, а грудь преисполняется сладкой печалью. Внезапно Матильда заиграла по-другому. Смелым быстрым движением она извлекла из струн воинственные аккорды, а затем запела следующую балладу под простой, но мелодичный аккомпанемент.

Дурандарте и Белерма
Песнь о битве в Ронсевале
Так ужасна, так грустна!
Славны рыцарей, что пали
В том ущелье, имена.

Там и доблести зеркало,
Дурандарте был сражен.
Смерть уста ему сковала,
Но успел промолвить он:

«О Белерма! Семь уж лет я
Преданно тебе служил.
От тебя в ответ семь лет я

Лишь презрение находил.

Ныне же, едва ответный
Я огонь в тебе зажег,
Помешал мечте заветной
Сбыться беспощадный Рок.

В цвете лет, в том честь порука,
Я с улыбкой на устах
Смерть приму, и лишь разлука
С милой мне внушает страх.

Монтесинос, родич милый,
Выслушай, молю, меня,
Заклинаю дружбы силой,
Заклинаю светом дня,

Чуть мой дух покинет тело,
Сердце из моей груди
Извлеки рукою смелой
И к Белерме с ним пойд.

Скажешь ей, мои владенья
В смертный миг я ей отдал,
На нее благословенье
Вздох последний мой призвал.

За нее, скажи ей, верно
Я молитвы возносил,
Да помолится усердно
За того, кто так любил.

Монтесинос, близок час мой,
Дай на грудь твою прилечь.
Чу! Слабею, взор угас мой.
Чу! Я выронил свой меч.

Те, что провожали в битву,
Уж не свидятся со мной,
Родич, сотвори молитву
И глаза мои закрой.

Перестанет сердце биться,
Понапрасну слез не лей,
Не забудь лишь помолиться,
Родич, о душе моей.

Пусть к мольбе твоей Спаситель
Милосердно склонит слух

И в Небесную Обитель
Примет мой смиренный дух».

Встретил смолкнувший в печали
Дурандарте свой конец.
Мавры все возликовали,
Что погиб такой боец.

Горько плача, Монтесинос
Мертвые глаза закрыл,
Горько плача, Монтесинос
Для него могилу рыл.

Выполняя обещанье,
Дурандарте грудь рассек,
Чтоб Белерме дар прощальный
Отвезти, любви залог.

Монтесинос над могилой
В лютой горести стенал:
«Дурандарте, родич милый,
Кто тебе подобных знал?

Чести рыцарской зеркало,
Кроток духом, лев в бою!
Горе сердце истерзало,
Как снести мне смерть твою?

Родич, прах твой схоронивши,
Я останусь слезы лить.
Для чего тебя сразивший
Враг меня оставил жить?»

Амбросио с восхищением внимал ее пенью. Никогда он еще не слышал столь мелодичного голоса и удивлялся, что, кроме ангелов, кто-то способен изливать сердце в столь небесных звуках. Но, услаждая свой слух, он после единственного взгляда понял, что не должен подвергать такому искушению и зрение. Певица сидела в некотором отдалении от его ложа, склоняясь к арфе с грациозной непринужденностью. Капюшон был надвинут на лицо не так низко, как обычно, и открывал глазу коралловые губки, сочные, свежие, манящие, а также прелестный подбородок, где в ямочках, казалось, притаилась тысяча Купидонов. Длинный рукав ее одеяния задевал бы струны, а потому она завернула его выше локтя, обнажив безупречной красоты руку, нежная кожа которой могла бы поспорить белизною со снегом. Амбросио осмелился взглянуть на нее лишь раз. Но и одного взгляда оказалось достаточно, чтобы он убедился, сколь опасной была близость этого соблазнительного видения. Он закрыл глаза, но тщетно пытался изгнать образ Матильды из своих мыслей. Она все так же витала перед ним, украшенная всеми прелестями, какие могло измыслить разгоряченное воображение. Красота того, что он уже видел, стократно возрастала, а все скрытое от его взора фантазия рисовала самыми яркими красками. Но по-прежнему он помнил о своих обетах и необходимости строго

следовать им. Он вступил в борьбу с желанием и содрогнулся, узрев, какая перед ним развралась бездна.

Матильда умолкла. Страшась ее чар, Амбросио не открыл глаз и только молил святого Франциска укрепить его в этом опасном испытании. Матильда поверила, что он спит. Она встала, тихо подошла к постели и несколько минут безмолвно смотрела на него с пристальным вниманием.

– Он спит! – произнесла она наконец тихим голосом, но аббат ясно различал каждое слово. – Теперь я могу смотреть на него, не возбуждая его неудовольствия. Я могу смешать мое дыхание с его дыханием, могу с обожанием созерцать его черты, и он не заподозрит меня в нечистоте помыслов и в обмане! Он страшится, что я соблазню его нарушить обет! О несправедливец! Будь моей целью пробудить желание, разве я стала бы так старательно прятать от него мое лицо? Лицо, о котором я каждый день слышу от него...

Она умолкла, погружившись в размышления, а затем продолжала:

– Это случилось только вчера! Лишь несколько коротких часов прошло с той минуты, когда он сказал, что я ему дорога, что он уважает меня, – и мое сердце обрело удовлетворение. Но теперь!.. О, как страшно изменилось мое положение! Он смотрит на меня подозрительно! Он велит мне покинуть его, покинуть навеки! О ты – мой святой, мой кумир! Ты второй в моем сердце после Бога! Еще два дня, и мое сердце откроется тебе... Можешь ли ты постигнуть чувства, с какими я смотрела на твою агонию? Можешь ли ты понять, насколько дороже сделали тебя мне твои страдания? Но недалек час, когда ты узнаешь, что моя любовь чиста и бескорыстна. Тогда ты пожалеешь меня и почувствуешь всю тяжесть такой печали!

Голос ее прервался от рыданий, и на щеку Амбросио, над которой она склонялась, упала слеза.

– О, я обеспокоила его! – воскликнула Матильда и торопливо отошла.

Тревога ее была напрасной. Крепче всех спят те, кто решает не просыпаться. Монах был именно в этом положении. Он еще изображал глубокий сон, но каждая проходящая минута все больше лишала сон всякой заманчивости. Жгучая слеза обожгла его сердце.

«Какая нежность! Какая чистота! – восклицал он мысленно. – Ах! Если моя грудь так отзывчива на жалость, что было бы, взволнуй ее любовь!»

Матильда вновь встала, но отошла от ложа еще дальше. Амбросио осмелился открыть глаза и боязливо взглянуть на нее. Она стояла спиной к нему. Скорбно положив одну руку на арфу, она созерцала образ Мадонны, висевший напротив ложа.

– Счастливое, счастливое изображение! – так обратилась она к прекрасной Мадонне. – К тебе он обращает свои мольбы! На тебя взирает он с восхищением! Я думала, ты облегчишь мои горести, но ты лишь сделала их тяжелее. Ты внушаешь мне мысль, что, узнай я Амбросио, прежде чем он принял постриг, он и счастье могли бы стать моими. С каким упоением смотрит он на тебя! С каким жаром обращает молитвы к бесчувственному холсту! Ах, но вдруг эти чувства пробуждает в нем какой-нибудь тайный и добрый гений, друг моей любви? Но вдруг естественный инстинкт подскажет ему... Прочь пустые надежды! Надо гнать мысль, отнимающую блеск у добродетелей Амбросио. Религия, а не красота будит в нем восхищение, и не перед женщиной, но перед Божественностью преклоняет он колена. О, если бы он обратился ко мне с самым холодным из слов, которые изливает перед своей Мадонной! О, если бы услышать от него, что он, не будь уже обручен с Церковью, не презрел бы Матильды! О, позволь мне питать эту сладкую мысль! Быть может, он еще признает, что чувствует ко мне не просто жалость и что любовь, подобная моей, заслуживает взаимности. Быть может, он скажет это, когда я буду лежать на смертном одре! Тогда ему не надо будет опасаться нарушения обета, а признание в его истинном чувстве утишит смертные муки. Ах, если бы я была уверена в этом! О, как искренне вздыхала бы я о смертном миге!

Из этой речи аббат не упустил ни единого слога, а тон, которым она произнесла последние слова, проник в самое его сердце. И он невольно приподнялся на подушке.

– Матильда! – сказал он взволнованным голосом. – О моя Матильда!

Она вздрогнула и быстро обернулась к нему. Это внезапное движение сбросило капюшон с ее головы, и ее лицо открылось вопрошающему взгляду монаха. С каким же изумлением он узрел точное подобие своей Мадонны! Те же безупречные черты, та же пышность золотых волос, те же алые губы, небесные глаза и то же величие – вот каким было дивное лицо Матильды. Вскрикнув от удивления, Амбросио вновь упал на подушки, не зная, видит ли он перед собой смертную или небожительницу.

Матильду, казалось, сковало смущение. Она стояла, окаменев, с рукой на арфе. Глаза ее потупились, щеки залил жаркий румянец. Затем она поспешила вновь скрыть лицо под капюшоном и дрожащим испуганным голосом обратилась к монаху так:

– Несчастная случайность сделала тебя обладателем тайны, которую я открыла бы только на ложе смерти. Да, Амбросио, в Матильде де Вильянегас ты видишь оригинал своей возлюбленной Мадонны. Вскоре после того, как мной овладела моя злополучная страсть, я придумала план, как послать тебе свое изображение. Толпы поклонников убедили меня, что я не лишена красоты, и мне не терпелось узнать, какое впечатление она произведет на тебя. Я поручила Мартину Галуппи, знаменитому венецианцу, прибывшему тогда в Мадрид, написать мой портрет. Сходство было поразительным, и я послала его в капуцинский монастырь как бы на продажу – еврей, у которого ты его купил, был моим доверенным. Да, ты купил портрет. Вообрази же мой восторг, когда я узнала, что ты смотрел на него с восхищением, а вернее, с преклонением во взоре; что ты повесил его в своей келье и обращаешь свои молитвы только к нему. Будешь ли ты после этого открытия смотреть на меня с еще большим подозрением? Однако оно должно убедить тебя в чистоте моей любви и не лишать меня твоего присутствия, твоего уважения. Я ежедневно слышала, как ты восхваляешь мой портрет, я видела, в какой экстаз ввергает тебя его красота. Но я не обратила против твоей добродетели это оружие, полученное от тебя же. Я скрывала от твоего взора черты, которые ты бессознательно любил. Я не пыталась пробудить желание своими прелестями или при помощи твоих чувств стать госпожой твоего сердца. Единственной моей целью было привлечь твое внимание усердным исполнением благочестивых обрядов, стать нужной тебе, убедив тебя в добродетельности моих мыслей, в искренности моей привязанности. И я преуспела! Я стала твоей собеседницей и другом. Я скрыла от тебя свой пол, и, если бы не твоя настойчивость в расспросах и не мой страх перед случайным разоблачением, ты продолжал бы знать меня только как Росарио. И ты по-прежнему хочешь прогнать меня? Немногие часы жизни, какие мне еще остаются, ужели я не могу провести рядом с тобой? О, прерви же молчание, Амбросио, и скажи, что я могу остаться!

Эта речь дала аббату время собраться с мыслями. Он понимал, что в нынешнем его расположении духа не отдаться во власть этой пленительной женщины он мог, лишь избегая ее присутствия.

– Твое признание так меня ошеломило, – сказал он, – что пока я не способен ответить тебе. Не настаивай на ответе, Матильда. Оставь меня пока, я должен побыть в одиночестве.

– Я повинуюсь... Но прежде чем я удалюсь, обещаю не требовать, чтобы я покинула монастырь теперь же.

– Матильда, подумай о своем положении, подумай, к чему приведет твое пребывание здесь. Наша разлука неизбежна, и мы должны расстаться.

– Но не сегодня, отче! О, сжался! Только не сегодня!

– Ты слишком настойчива! Но я не могу воспротивиться этому молящему тону. Раз ты так этого желаешь, я уступаю твоей просьбе и даю согласие, чтобы ты осталась здесь на время достаточное, чтобы в какой-то мере подготовить братию к твоему отъезду. Останься еще на

два дня. На третий же... – Он невольно вздохнул. – Помни, на третий мы должны расстаться навсегда!

Она благодарно схватила его руку и прижала к губам.

– На третий? – воскликнула она с мрачной торжественностью. – Ты прав, отче, о, ты прав! На третий мы должны расстаться навсегда.

В ее глазах, когда она произносила эти слова, появилось дикое выражение, пронзившее ужасом душу монаха. А она еще раз поцеловала его руку и выбежала вон.

Амбросио старался подыскать оправдание присутствию своей опасной гостьи, памятуя, насколько оно нарушает устав его ордена, и грудь его превратилась в арену противоборствующих страстей. В конце концов его привязанность к лже-Росарио, подкрепляемая природной его пылкостью, начала брать верх. И победа ей была всецело обеспечена, когда на помощь Матильде пришла самоуверенность, составлявшая основу его характера. Монах рассудил, что преодоление соблазна неизмеримо большая заслуга, чем бегство от него. Он подумал, что ему скорее надо радоваться случаю доказать твердость своей добродетельности. Святой Антоний выдержал все искушения плотской страстью. Почему же он не способен сделать то же? К тому же святого Антония искушал дьявол, пускавший в ход все ухищрения, лишь бы зажечь в нем греховную страсть. Ему же, Амбросио, угрожает лишь смертная женщина, боязливая, целомудренная, причем мысль, что он уступит соблазну, страшит ее так же, как и его самого.

– Да, – сказал он, – несчастная останется. Мне нечего опасаться ее присутствия. Даже если моя воля окажется слишком слабой перед искушением, невинность Матильды мне щит от всякой опасности.

Амбросио только предстояло узнать, что порок еще опаснее для незнакомого с ним сердца, когда прячется под личиной добродетели.

Ему стало настолько легче, что вечером, когда его снова навестил отец Паблос, он попросил разрешения покинуть келью уже на следующий день. И получил его. Вечером Матильда к нему не пришла, но только появилась на минуту вместе с монахами, когда они все пришли справиться о здоровье настоятеля. Казалось, она страшилась разговора наедине с ним и быстро покинула келью. Амбросио спал крепко, но ему привиделось то же, что накануне, а сладострастные ощущения стали сильнее и утонченнее. Те же будящие похоть образы витали перед ним. Матильда во всем блеске красоты, теплая, нежная, обворожительная, прижимала его к груди и расточала ему самые пылкие ласки. Он отвечал тем же и уже готов был удовлетворить свои желания, как вдруг неверный призрак исчез, оставив его всем ужасам стыда и разочарования.

Занялась заря. Усталый, измученный, истомленный своими дразнящими снами, он не захотел встать с постели и не пошел к заутрене. Впервые в жизни он пропустил эту службу. Встал он поздно, и в течение всего дня у него не было случая поговорить с Матильдой без свидетелей. В его келье толпились монахи, желавшие выразить ему свое сочувствие и озабоченность его состоянием. И он все еще выслушивал их поздравления с быстрым исцелением, когда звук колокола позвал их в трапезную.

После обеда монахи разошлись по саду, где древесная сень и укромные уголки предлагали тихий приют для сиесты. Аббат направил свои стопы к гроту отшельника. Взглядом он позвал с собой Матильду. Она повиновалась и без слов последовала за ним. Они вошли в грот и сели. Ни он, ни она, казалось, не решались что-нибудь сказать, охваченные смущением. Наконец аббат прервал молчание, но заговорил он о самых обыденных вещах, Матильда отвечала в том же тоне. Казалось, ей хотелось, чтобы он забыл, что с ним рядом не Росарио. Оба они не осмеливались, да и не хотели даже намекнуть на то, что больше всего занимало обоих.

Веселость Матильды выглядела напускной. Ее угнетала какая-то тяжелая тревога, и голос ее звучал тихо и слабо. Казалось, она хотела кончить разговор, который тяготил ее, и сославшись на нездоровье, попросила у аббата разрешения вернуться к себе. Амбросио проводил ее

до дверей кельи, а там остановил и сказал, что согласен, чтобы она и дальше оставалась товарищем его одиночества, пока ей будет угодно.

Выслушав его, Матильда ничем не выразила радости, хотя накануне добивалась его согласия с такой настойчивостью.

– Увы, отче! – произнесла она, печально покачивая головой. – Твоя доброта опоздала! Мы должны разлучиться навеки. Но верь, я благодарна за твое великодушие, за твое сострадание к несчастной, которая столь мало его заслуживает!

Она прижала платок к глазам. Капюшон прикрывал только половину ее лица, и Амбросио заметил, что она бледна, а глаза у нее запали и стали смутными.

– Боже мой! – вскричал он. – Ты больна, Матильда! Я тотчас пришлю к тебе отца Паблоса.

– Нет. Не надо. Я больна, это правда, но он не сможет вылечить мой недуг. Прощай, отче! Помяни меня завтра в своих молитвах, а я помяну тебя на Небесах!

Она вошла к себе в келью и затворила дверь.

Аббат незамедлительно послал к ней лекаря и с нетерпением ждал его возвращения. Впрочем, отец Паблос вернулся очень скоро и сказал, что ходил напрасно. Росарио отказался впустить его и решительно отверг предложенную помощь. Ответ этот внушил Амбросио немалую тревогу, тем не менее он решил, что до утра Матильду не надо больше тревожить, но, если тогда ей не станет лучше, он настоит, чтобы она посоветовалась с отцом Паблосом.

Ему не спалось. Он открыл свое окошко и взирал, как лунные лучи озаряют ручей, омывающий стены монастыря. Прохладный ночной ветерок и ночное безмолвие вызвали печаль в душе монаха. Он задумался о красоте Матильды, о ее любви, о наслаждениях, которые мог бы делить с ней, не будь он закован в цепи монастырского устава. Ему пришло в голову, что ее любовь к нему, не питаемая надеждой, долго не продлится. Без сомнения, она сумеет погасить свою страсть и попробует найти счастье в объятиях более удачливого смертного. Он содрогнулся при мысли о пустоте, которую разлука с ней оставит в его груди, с отвращением оглянулся на монастырское однообразие и послал вздох миру, от которого был навеки отлучен. От этих размышлений его отвлек громкий стук в дверь. Монастырский колокол уже отбил два часа. Аббат поспешил узнать, что случилось, и отворил дверь кельи. За ней стоял послушник, чей вид говорил о торопливости и смятении.

– Поспешите, святой отец! – сказал он. – Поспешите к Росарио. Он призывает вас к себе. Он умирает!

– Милостивый Боже! Где отец Паблос? Почему он не с ним? Я страшусь! О, я страшусь!

– Отец Паблос был у него, но его искусство бессильно. Он подозревает, что юноша отравился.

– Отравился? О, несчастный! Это я и подозревал. Но нельзя терять ни мгновения. Быть может, еще удастся спасти ее!

С этими словами он поспешил к келье лже-Росарио. Там уже собралось несколько монахов. Одним из них был отец Паблос, державший в руке лекарство, которое пытался дать выпить молодому послушнику. Остальные восхищались божественным ликом больного, впервые не закрытым капюшоном. А Матильда выглядела даже прелестней обычного. Бледность и страдание исчезли. Яркий румянец разлился по ее ланитам, в глазах светилась безмятежная радость, и весь ее вид дышал верой и покорностью судьбе.

– Ах, не мучайте меня больше, – говорила она Паблосу, когда в келью вбежал полный ужаса аббат. – Мой недуг не подвластен вашему искусству, и я не ищу исцеления. – Тут, увидев Амбросио, она вскричала: – Ах, это он! Я свиделся с ним еще раз перед тем, как мы расстанемся навеки! Оставьте нас, братья мои. Мне многое нужно сказать святому человеку наедине.

Монахи тотчас удалились, и аббат с Матильдой остались одни.

– Что ты сделала, неразумная девица! – воскликнул он, едва дверь затворилась. – Скажи, верны ли мои подозрения? И я действительно должен тебя потерять? И твоя собственная рука стала орудием твоей гибели?

Она улыбнулась и сжала его пальцы:

– В чем я была неразумна, отче? Пожертвовала камешком и спасла алмаз. Моя смерть сохраняет жизнь, бесценную для мира и более дорогую мне, чем моя собственная. Да, отче, я отравлена. Но знай, яд этот прежде струился в твоих жилах.

– Матильда!

– Я скажу тебе то, что твердо решила открыть только на смертном одре. И вот эта минута настала. Ты еще не мог забыть дня, когда укус съентипедоро поставил твою жизнь под угрозу. Врач потерял всякую надежду и объявил, что не знает, как извлечь яд. Одно средство мне было известно, и я без колебаний прибегла к нему. Меня оставили наедине с тобой. Ты спал, я развязала повязку на твоей руке, я поцеловала ранку и высосала яд. Подействовал он быстрее, чем я предполагала. Я ощущаю смерть в сердце. Еще час, и я буду в лучшем мире.

– Боже Всемогущий! – вскричал аббат и упал на постель почти бездыханный.

Через минуту-другую он внезапно поднялся и посмотрел на Матильду с самым диким отчаянием.

– И ты пожертвовала собой ради меня! Ты умираешь – и умираешь, чтобы жил Амбросио! Неужто нет никакого противоядия, Матильда? Нет никакой надежды? О, ответь мне! Скажи, что ты можешь сохранить свою жизнь!

– Утешься, мой единственный друг! Да, я еще могу сохранить свою жизнь. Но с помощью средства, к которому не смею прибегнуть. Оно опасно. Оно страшно! Жизнь будет куплена слишком дорогой ценой... если только мне не будет дозволено жить для тебя...

– Так живи для меня, Матильда, для меня и моей благодарности! – Он схватил ее руку и страстно прижал к губам. – Вспомни последние наши разговоры. Теперь я согласен на все. Вспомни, какими яркими красками ты живописала союз душ. Да осуществим мы его. Забудем разность полов, презрим мирские предрассудки и будем считать себя братьями и друзьями. Живи же, Матильда! О, живи для меня!

– Амбросио, это невозможно! Когда я думала так, я обманывала и тебя и себя. Либо я должна умереть сейчас, или медленно погибнуть в муках неудовлетворенного желания. Ах, с тех пор как мы беседовали в последний раз, с моих глаз спала ужасная повязка. Я люблю тебя не так благоговейно, как любят святого, я более не ценю тебя за достоинства твоей души, я жажду насладиться тобой. Женщина царит в моей груди, и я стала добычей необузданных страстей. Прочь дружба! Холодное, бесчувственное слово! Моя грудь пылает любовью, невыразимой любовью, требующей любви в ответ! Трепещи же, Амбросио, трепещи, что твоя молитва будет услышана. Если я останусь жить, твоя чистота, твоя добрая слава, твоя награда за жизнь, проведенную в страдании, – все, чем ты дорожишь, все будет безвозвратно потеряно. Я буду уже не в силах бороться со своими страстями, буду пользоваться каждым случаем, чтобы воспламенять твои желания и добиваться твоего бесчестия и моего. Нет, нет, Амбросио, я не должна жить! С каждым мгновением я убеждаюсь, что у меня есть только один выбор, с каждым биением сердца я чувствую, что должна насладиться тобой или умереть.

– О удивление!.. Матильда!.. Ты ли это говоришь со мной?

Он сделал движение, словно собираясь встать. И она с пронзительным воплем приподнялась и обняла его, чтоб удержать.

– Нет, не покидай меня! Выслушай с состраданием признание в моих грехах! Через несколько часов меня не станет. Еще немного, и я буду свободна от этой позорной страсти.

– Злосчастная! Что я могу сказать тебе! Я не в силах... я не должен... Но живи, Матильда! О, живи!

– Ты не подумал, о чем ты просишь. Как? Жить, чтобы броситься в пучину порока? Стать орудием ада? Добиваться гибели и твоей, и моей? Послушай это сердце, отче!

Она взяла его руку. Смущенный, в смятении, он, точно замороженный, не отнял руки и почувствовал, как под ладонью бьется ее сердце.

– Ты чувствуешь это сердце, отче? Оно пока еще вместилище чести, правды и целомудрия. Если оно будет биться завтра, то неизбежно станет добычей чернейших преступлений. О, разреши мне умереть сегодня! Дай мне умереть, пока я еще достойна слез добродетельных людей. Вот так хочу я испустить дух! – Она опустила голову ему на плечо, и ее золотые волосы рассыпались по его груди. – В твоих объятиях я погружусь в сон. Твоя рука закроет мне глаза навеки, твои губы примут мой последний вздох. И ведь ты будешь иногда думать обо мне? Прольешь иногда слезу над моей могилой? О да! Да! Да! Этот поцелуй мне порука!

Была глубокая ночь. Вокруг царила тишина. Слабые лучи единственной лампы скользили по телу Матильды, наполняли келью смутным таинственным сиянием. Ни любопытные глаза, ни настороженные уши не мешали любовникам. Слышен был лишь мелодичный голос Матильды. Амбросио был молодым мужчиной в расцвете сил. Он видел перед собой молодую прекрасную женщину, свою спасительницу, обожательницу, кого нежность к нему привела на край могилы. Он сидел на ее постели, его рука покоилась на ее груди, ее голова маняще склонялась на его плечо. Так можно ли удивляться, что он поддался соблазну? Пьяный от желания, он прижался устами к устам, искавшим их. Его поцелуи пылкостью и жаром соперничали с поцелуями Матильды. Он заключил ее в страстные объятия и забыл свои обеты, свою святость и свою славу. В мыслях у него было только наслаждение и возможность предаться ему.

– Амбросио! О мой Амбросио! – вздохнула Матильда.

– Твой, навеки твой! – прошептал монах и пал на ее грудь.

Глава 3

*...Это злодеи, убивающие
всех путешественников.*

*...Между нами есть дворяне —
Слепое буйство юности безумной
Их от людей достойных удалило.*

«Два веронца»¹²

Маркиз и Лоренцо шли по улицам молча. Первый припоминал все обстоятельства, которые могли создать у Лоренцо наилучшее мнение о том, что связывало его и Агнесу. Второй, справедливо боясь за фамильную честь, испытывал тягостное смущение. То, свидетелем чему он только что был, воспрещало ему обходиться с маркизом как с другом, но данное Антонии обещание стать ходатаем за нее мешало обойтись с ним как с врагом. Эти размышления привели его к мысли, что разумнее всего будет молчать, в нетерпении ожидая объяснений донна Раймонда.

Когда они вошли во дворец де лас Систернас, маркиз тотчас проводил его в свои покои и заговорил о том, как счастлив он, найдя его в Мадриде. Но Лоренцо перебил эти изъяснения.

– Простите меня, маркиз, – сказал он сурово, – если я с некоторой холодностью отвечу на ваши заверения в дружбе. Речь идет о чести моей сестры. Пока она не будет очищена и цель вашей переписки с Агнесой не станет мне понятна, я не могу считать вас другом. Я с нетер-

¹² У. Шекспир. Два веронца. Акт IV, сцена 1. Перевод В. Левика и М. Морозова.

пением жду услышать, что означает ваше поведение, и надеюсь, что вы не станете мешкать с обещанным объяснением.

– Сначала дай слово, что будешь слушать терпеливо и снисходительно.

– Я нежно люблю сестру и не собираюсь судить ее с беспощадностью, а до этого мгновения у меня не было друга столь мне дорогого, как вы. Признаюсь также, что в вашей власти одолжить меня в деле, которое я принимаю близко к сердцу, и потому я всей душой хочу узнать, что вы по-прежнему заслуживаете моего уважения.

– Лоренцо, ты восхищаешь меня! Мне нет большей радости, чем получить возможность услужить брату Агнесы!

– Убедите меня, что честь позволит мне принять вашу услугу, и в мире не найдется человека, которому я столь охотно был бы обязан.

– Быть может, ты слышал, как твоя сестра упоминала имя Альфонсо д'Альварады?

– Нет. Хотя я питаю к Агнесе истинно братскую любовь, обстоятельства надолго нас разлучили. Совсем девочкой ее поручили заботам тетки, бывшей замужем за немецким бароном. В его замке она оставалась до тех пор, пока два года назад не вернулась в Испанию, твердо решив удалиться от мира.

– Боже великий! Лоренцо, ты знал о ее намерении и не попытался отговорить ее?

– Маркиз, вы ко мне несправедливы. Известие об этом, которое я получил в Неаполе, глубоко меня поразило, и я поспешил в Мадрид, только чтобы помешать ее губительному намерению. В день приезда я кинулся в монастырь Святой Клары, куда Агнеса поступила белицей¹³. Я сказал, что хочу увидеть мою сестру. Вообразите же мое изумление, когда она прислала сказать мне, что отказывается меня видеть. Она прямо объявила, что, опасаясь моего на нее влияния, она решится встретиться со мной лишь накануне дня, в который примет постриг. Я умолял монахинь, я требовал свидания с Агнесой и даже высказал подозрение, что ее насильственно от меня прячут. Чтобы очиститься от такого обвинения, настоятельница принесла мне несколько строк, начертанных хорошо мне знакомым почерком моей сестры. Они повторяли то, что мне уже сообщили от ее имени. Все дальнейшие попытки добиться свидания с ней оказались столь же бесплодными, как и первая. Она оставалась неумолимой, и мне дозволили свидеться с ней лишь за день до того, как она вошла в монастырь, чтобы более никогда его не покидать. Свидание происходило в присутствии наших ближайших родственников. Я увидел ее впервые с тех пор, как она была маленькой девочкой, и встреча наша была очень трогательной. Агнеса бросилась мне в объятия, поцеловала меня и горько расплакалась. Всевозможными доводами, слезами, мольбами я тщился убедить ее отказаться от пострижения. Я упал перед ней на колени, я перечислял все тяготы монастырской жизни, я рисовал ей все радости, от которых она отказывалась, и просил хотя бы открыть мне, что внушило ей такое отвращение к миру. При этом вопросе она побледнела, и ее слезы хлынули с новой силой. Она умоляла меня не настаивать на ответе. Тогда я понял, что ее решение твердо, что только в монастыре можно ей надеяться обрести душевный покой. Она не отступила от своего намерения и постриглась. Я часто навещал ее у решетки, и каждая проведенная с ней минута увеличивала мою горечь от того, что я ее лишился. Затем мне пришлось надолго покинуть Мадрид. Вернулся я лишь вчера вечером и еще не успел побывать в монастыре Святой Клары.

– Так, значит, до того, как я упомянул о нем, ты прежде никогда не слышал имени Альфонсо д'Альварады?

– Прошу извинить меня. Тетушка писала мне, что носивший такое имя проходимец нашел средство втереться в замок Линденберг, что он сумел расположить к себе мою сестру и что она даже согласилась бежать с ним. Однако до того, как план этот был приведен в исполнение, кавалер узнал, что поместье на Испаньоле, которое он считал приданым Агнесы, в дей-

¹³ Белица – послушница, которая намерена посвятить себя монашеской жизни.

ствительности принадлежит мне, и изменил свое намерение. Он скрылся в тот самый день, когда они собирались бежать, и Агнеса, в отчаянии от его вероломства и алчности, пожелала удалиться в монастырь. Тетушка добавила, что негодяй выдавал себя за моего друга, и осведомилась, знаю ли я такого. Я ответил, что нет. Мне тогда и в голову не приходило, что Альфонсо д'Альварада и маркиз де лас Систернас – одно и то же лицо. Присланное мне описание первого далеко не совпадало с внешностью второго.



– Узнаю коварство доньи Родольфы. Каждое слово здесь дышит ее злобой, ее лживостью, ее умением очернить тех, кому она хочет повредить. Прости меня, Медина, что я позволил себе так отзываться о твоей родственнице. Зло, которое она мне причинила, оправдывает мое негодование, а когда ты выслушаешь мою повесть, то убедишься, что употребленные мной выражения еще слишком мягки.

Затем он начал свой рассказ.

ИСТОРИЯ ДОНА РАЙМОНДА, МАРКИЗА ДЕ ЛАС СИСТЕРНАСА

Долгое знакомство наше, милый Лоренцо, открыло мне все благородство твоей натуры. И я без твоего объяснения знал, что злключения твоей сестры были преднамеренно скрыты от тебя. Если бы ты был о них осведомлен, скольких бедствий избежали бы Агнеса и я! Судьба судила иначе. Ты путешествовал, когда я познакомился с твоей сестрой, а так как наши враги скрывали от нее, где ты странствуешь, она не могла написать тебе, прося защиты и совета.

Покинув Саламанку, где ты, как мне стало ведомо позднее, провел еще год после моего отъезда, я незамедлительно отправился путешествовать. Мой отец щедро снабдил меня деньгами. Однако он настоял, чтобы я скрыл свой ранг и представлялся простым дворянином. Так ему посоветовал его друг, герцог Вилья-Хермоса, гранд, которого я весьма почитал за его великие достоинства и знание света.

– Поверь, дорогой Раймонд, – сказал он, – ты не раз убедишься в пользе временного отказа от титула. Разумеется, как графа де лас Систернаса тебя всюду принимали бы с распростертыми объятиями, и юное твое тщеславие убагловорялось бы лестными знаками внимания, которыми тебя окружали бы. Теперь же многое зависит от тебя самого. Ты везешь превосходные рекомендательные письма, но сам должен будешь найти, как обратить их себе на пользу. Ты должен будешь стараться произвести благоприятное впечатление, прилагать усилия, чтобы понравиться тем, к кому ты явишься. Те, кто не замедлил бы искать дружбы графа де лас Систернаса, не станут гадать о достоинствах или терпеливо сносить недостатки Альфонсо д'Альварады. А потому если ты встретишь дружбу и расположение, то сможешь смело приписать их собственным благородным качествам, а не обаянию своего титула, и такие знаки отличия будут несравненно более лестными. К тому же твое высокое рождение не позволило бы тебе сходиться с людьми низкого звания, но теперь такие знакомства тебе открыты, а из них, по моему мнению, ты извлечешь немалую пользу. Не ограничивайся лишь знатю тех стран, которые будешь посещать. Познакомься с нравами и обычаями простонародья. Посещай хижины и, посмотрев, как обращаются с крестьянами в чужих краях, научись облегчать бремя своих и увеличивать их благоденствие. По моему мнению, среди преимуществ, которые юноша, предназначенный обладать властью и богатством, может извлечь из путешествий, отнюдь не последним является возможность близко познакомиться с низшими сословиями и своими глазами увидеть страдания простых людей.

Прости, Лоренцо, если мой рассказ кажется тебе долгим и утомительным. Существующая между нами теперь тесная связь внушает мне желание открыться тебе во всем, и, опасаясь упустить хоть малейшую подробность, которая может способствовать тому, чтобы ты не подумал дурно о своей сестре и обо мне, я, вероятно, сообщу и много такого, что ты сочтешь неинтересным.

Последовав совету герцога, я вскоре убедился в его мудрости. Назвавшись вымышленным именем, Испанию я покинул как дон Альфонсо д'Альварада в сопровождении лишь одного верного слуги. Первой моей целью был Париж. Вначале он меня совершенно очаровал, как не может не очаровать всякого молодого богатого человека, любящего удовольствия. Однако в вихре веселья я замечал какую-то пустоту в сердце. Мне приелись буйные развлечения. Я обнаружил, что люди, среди которых я жил, столь учтивые и обходительные, на самом деле легкомысленны, бесчувственны и неискренни. Я с отвращением отвернулся от парижан и без вздоха сожаления покинул эту обитель роскоши.

Теперь путь мой лежал в Германию, где я намеревался посетить все главные дворы, но прежде предполагал пожить некоторое время в Страсбурге. Выйдя из экипажа в Люневиле, чтобы перекусить в гостинице, я заметил у дверей «Серебряного льва» великолепную карету с четырьмя слугами в пышных ливреях. Вскоре, посмотрев случайно в окно, я увидел, как в

карету села дама величественной наружности в сопровождении четырех прислужниц. Карета тотчас уехала, а я осведомился у хозяина, кто эта дама.

– Немецкая баронесса, мосье, очень знатная и богатая. От ее слуг я узнал, что она навещала здесь герцогиню де Лонгвиль. Сейчас она направляется в Страсбург, где встретится с супругом, и они вместе вернутся в свой замок в Германии.

Я отправился дальше, намереваясь в тот же вечер уже быть в Страсбурге. Однако поломка экипажа воспрепятствовала этому. Сломался он на полпути через густой лес, и я оказался в немалом затруднении. Была середина зимы, уже смеркалось, а до Страсбурга, ближайшего оттуда города, оставалось еще несколько лиг. Я решил, что должен либо провести ночь в лесу, либо взять лошадь моего слуги и добраться до Страсбурга верхом – прогулка в такое время года не слишком приятная. Однако иного выхода не было, и я сообщил о своем намерении наемному кучеру, обещав тотчас прислать помощь из Страсбурга. Его честность не внушала мне особого доверия, но он был в годах, а Стефано хорошо вооружен, и я не думал, что должен опасаться за свой багаж.

К счастью, как показалось мне тогда, тут же выяснилось, что ночь можно провести гораздо удобнее, чем я полагал. Едва услышав, что я намерен отправиться в Страсбург, кучер покачал головой.

– До Страсбурга далеко, – сказал он, – а без проводника вы и с дороги можете сбиться. К тому же мосье как будто не привык к суровым зимам и может не выдержать холода...

– К чему эти возражения? – нетерпеливо перебил я. – Что еще мне остается делать? А проведя ночь в лесу, я скорее погибну от холода.

– Проведя ночь в лесу? – повторил он. – Святой Денис! Мы еще не в столь отчаянном положении. Коли не ошибаюсь, отсюда совсем близко до хижины моего старинного друга Батиста, дровосека и честного малого. Он будет рад приютить вас на ночь, а я тем временем поскачу в Страсбург и на заре вернусь с каретником и его подручными.

– Во имя всего святого! – воскликнул я. – Что же ты раньше не сказал? Почему не объяснил про хижину? Какая глупость!

– Я думал, может, мосье побрезгует...

– Вздор! Ну, довольно болтовни! Проводи нас не мешкая к дровосеку.

Он послушался, и мы двинулись вперед. Лошади с трудом тащили за нами разбитый экипаж. Мой слуга уже совсем онемел от холода, да и меня мороз пробирал до костей, когда мы наконец добрались до желанной хижины. Она была невелика, но построена крепко, и я с радостью увидел в окошке жаркое пылание огня. Наш проводник постучал в дверь. Никто не откликнулся. Без сомнения, обитатели хижины не знали, впускать ли нас.

– Э-эй! Э-эй, друг Батист! – нетерпеливо крикнул кучер. – Чего мешкаешь? Или ты спишь? Или хочешь отказать в ночлеге благородному путешественнику, чей экипаж сломался в лесу?

– А! Так это ты, честный Клод? – донесся изнутри мужской голос. – погоди минуту, сейчас отворю.

Вскоре засовы были отодвинуты, дверь распахнулась и пред нами предстал мужчина с фонарем в руке. Он радостно поздоровался с кучером, а затем обратился ко мне:

– Добро пожаловать, мосье! Входите, входите! Простите, что не сразу пустил вас. Но в округе столько всякого темного люда, что, вы уж извините, я было принял вас за разбойников.

С этими словами он ввел нас в комнату, где я видел огонь. Меня тотчас усадили в кресло у очага. Женщина, жена хозяина, как я подумал, встала при моем появлении, холодно сделала мне небрежный реверанс, а затем снова села и взяла отложенное рукоделие. Насколько приветлив был ее муж, настолько недружелюбно и грубо держалась она.

– Желал бы я предложить вам что-нибудь поудобнее, мосье, но наша лачуга тесновата. Однако комнатка для вас и другая для вашего слуги у нас найдется. Вам придется довольство-

ваться простой пищей, но предложат ее вам, поверьте, со всем радушием. – Он повернулся к жене. – Что это, Маргарита, ты сидишь тут, будто у тебя никакого дела нет! Пошевеливайся, матушка! Пошевеливайся! Собери на стол, постели чистые простыни. Э-эй! Подбрось-ка поленьев в огонь! Господин, видно, совсем замерз.

Жена поспешно положила рукоделие на стол, но начала выполнять его распоряжения с видимой неохотой. Лицо ее мне не понравилось с первого взгляда. Однако черты ее были, бесспорно, красивыми. Но кожа выглядела землистой, а сама она – худой и изможденной. Лицо ее, полное угрюмости, выражало такую злобу и недоброжелательность, что их заметил бы и самый ненаблюдательный человек. Каждый ее взгляд, каждое движение выражали недовольство и досаду, а когда Батист добродушно пенял ей за насупленный вид, она отвечала коротко, резко и ядовито. Короче говоря, я сразу же проникся к ней неприязнью, не уступавшей по силе расположению, которое вызвал у меня ее муж, чья внешность внушала уважение и доверие. Лицо у него было открытое, искреннее, дружелюбное, манера держаться казалась простецкой, как у поселянина, но без крестьянской неотесанности. Щеки у него были круглыми и румяными, а дородство фигуры с избытком возмещало худобу его жены. По морщинам на лбу его я дал ему шестьдесят лет, но он выглядел не по возрасту крепким и здоровым. Жене не могло быть многим больше тридцати, но она казалась даже старше своего бодрого и деятельного супруга.

Пусть с неохотой, но Маргарита все-таки начала готовить ужин, а дровосек весело поддерживал разговор о том о сем. Кучер, запасшийся бутылкой с крепким зельем, готов был отправиться в Страсбург и спросил, нет ли у меня еще распоряжений.

– В Страсбург? – перебил Батист. – Куда это ты на ночь глядя?

– Так-то так, но, коли я не вернусь с каретником, как мосье поедет дальше?

– Верно, верно! Про экипаж-то я и позабыл. Да только, Клод, чего бы тебе не поужинать тут? Времени потратишь немного, а у мосье лицо доброе, не пошлет же он тебя на пустой желудок ехать по такому холодищу.

Я охотно дал свое согласие, заверив кучера, что, приеду я завтра в Страсбург на час-другой раньше или позже, важность невелика. Он поблагодарил меня и вышел из хижины со Стефано, чтобы поставить лошадь в большой сарай. Батист проводил их до дверей и с тревогой посмотрел наружу.

– Ветер-то, ветер! – сказал он. – Что-то мои парни задержались. Мосье, я вам покажу двух таких молодцов, что, право, загляденье. Старшему двадцать три, а младший на год моложе. В пятидесяти милях вокруг Страсбурга не сыскать двух таких разумных, смелых и усердных ребят. Скорей бы они вернулись! Что-то на душе у меня тревожно.

Маргарита в эту минуту застилала стол скатертью.

– Вы тоже тревожитесь за своих сыновей? – спросил я у нее.

– Нет, – ответила она с досадой. – Они мне не сыновья.

– Ну-ну, Маргарита, – сказал муж. – Не огрызайся на господина за простой вопрос. И не хмурься ты так, он бы заметил, что двадцатитрехлетнего сына у тебя быть не может! Вот видишь, как тебя старит дурной характер! Вы уж извините грубость моей хозяйки, мосье. Она по всякому пустяку из себя выходит, ну и надулась, что вы ей столько лет дали, хотя она еще и до тридцати не дожила. Так ведь, Маргарита, а? Вы же знаете, мосье, как все женщины молодятся. Ну-ну, Маргарита, улыбнись! Не сейчас, так через двадцать лет будут и у тебя сыновья в таком возрасте, и, надеюсь, выйдут из них молодцы не хуже Жака и Робера.

Маргарита с отчаянием сжала руки.

– Господи избави! – сказала она. – Господи избави! Да поверь я в это, так задушила бы их сразу своими руками!

Она торопливо вышла за дверь и поднялась по лестнице на второй этаж.

Я не удержался и вслух посочувствовал дровосеку, что, мол, всю жизнь ему придется проводить с такой сварливой женой.

– Господь с вами, мосье! У каждого есть свой крест, а у меня так Маргарита. Да к тому же она только сердится легко, а характер у нее не злой. Худо только, что из любви к двум своим детям от первого мужа она моим молодцам злая мачеха. Видеть их не может и, будь ее воля, давно бы выгнала их из дома. Но уж тут я ей даю отпор и никогда не отправлю бедных ребят бродить в поисках пропитания по свету, как она меня ни уговаривай! В чем другом я ей всегда уступлю, да и хозяйка она на редкость домовитая, этого у нее не отнимешь.

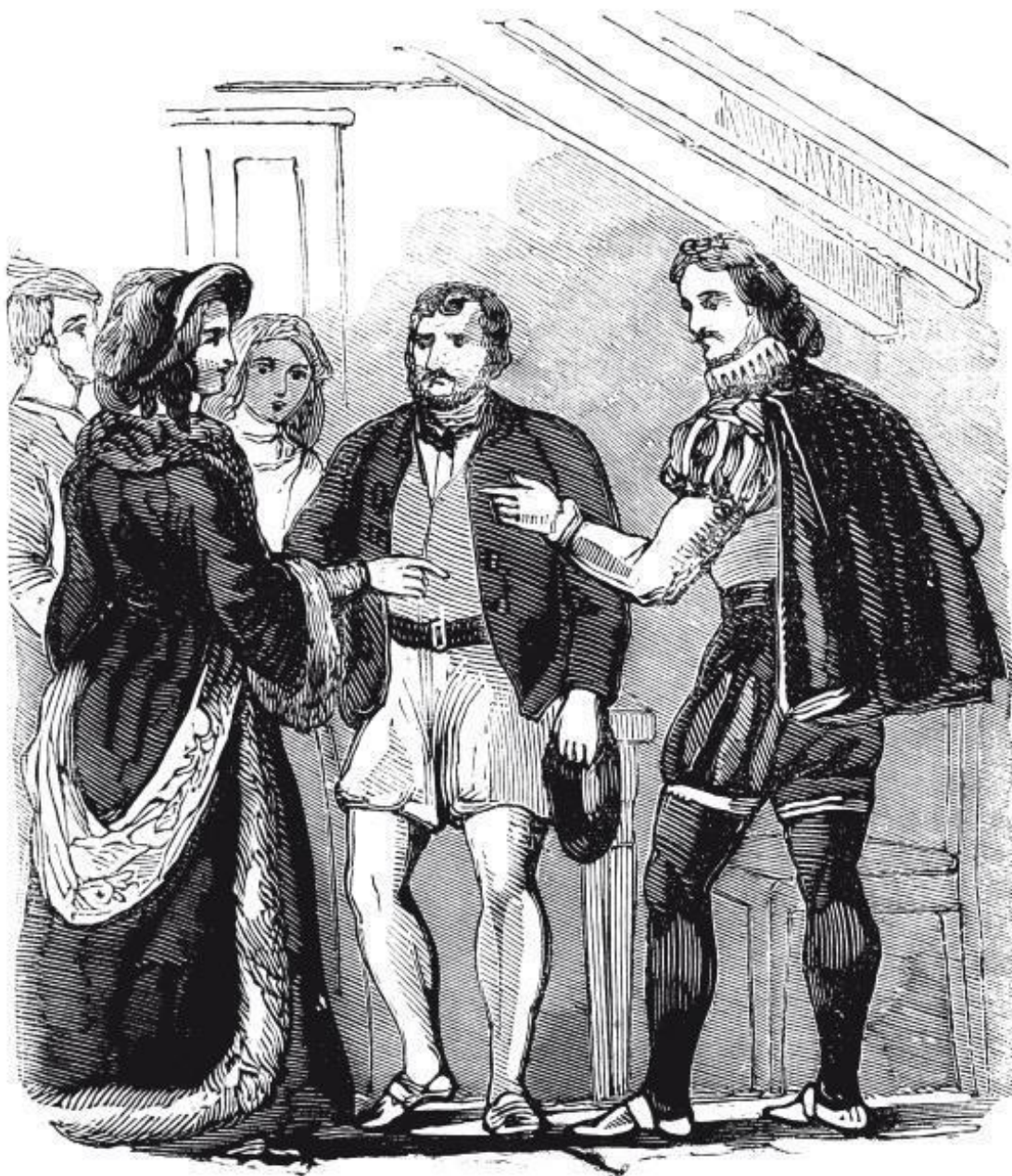
Мы продолжали беседовать, но вскоре нас перебил громкий окрик, который разнесся по всему лесу.

– Никак мои сынки! – воскликнул дровосек и побежал отворить дверь.

Окрик повторился. Теперь мы различили лошадиный топот, и минуту спустя к двери хижины подъехала карета в сопровождении нескольких всадников. Один из них осведомился, далеко ли до Страсбурга. Обращался он ко мне, и я назвал расстояние, о котором говорил Клод. Тут раздался залп проклятий по адресу кучеров, не знающих дороги, после чего сидящим в карете было доложено, что до Страсбурга еще далеко, а лошади так устали, что еле ноги передвигают. Дама, которая, видимо, всем распоряжалась, выразила глубокое огорчение. Но делать было нечего, и слуга спросил дровосека, сможет ли он предоставить им ночлег.

Батист, видимо, смутился и ответил, что никак не может, добавив, что единственные две свободные комнаты уже отданы испанскому дворянину и его слуге. Когда я это услышал, наша испанская галантность не позволила мне оставить за собой то, в чем нуждалась женщина. Я тотчас сказал дровосеку, что уступаю свою комнату даме. Он начал было возражать, но я отверг все его доводы, поспешил к карете, отворил дверцу и помог даме выйти, немедленно узнав в ней особу, которую видел из окна гостиницы в Люневиле. Выбрав удобную минуту, я осведомился у одного из слуг, кто она.

– Баронесса Линденберг, – последовал ответ.



Я не мог не заметить, что хозяин принял этих гостей совсем иначе, чем меня. Его нежелание видеть их под своим кровом было ясно написано на его физиономии, и он лишь с трудом заставил себя сказать даме «добро пожаловать». Я проводил ее в дом и усадил в кресло, которое только что покинул. Она поблагодарила меня весьма любезно и рассыпалась в извинениях, что лишает меня комнаты. Внезапно лицо дровосека прояснилось.

– Наконец-то сообразил! – сказал он, перебивая ее извинения. – Я могу устроить вас и вашу свиту, сударыня, причем так, что вам не придется стеснять этого господина за его учтивость. Одну из свободных комнат займет благородная дама, мосье, а вторую вы. Моя жена уступит свою двум служанкам, ну, а слуги переночуют в амбаре в нескольких шагах от дома. Там можно затопить печь, и они поужинают, чем Бог послал.

Дама изъявила благодарность, я было воспротивился тому, чтобы Маргарита лишилась своей комнаты, но в конце концов все так и устроилось. В комнате, где мы находились, было тесно, и баронесса тотчас отпустила своих слуг. Батист уже собрался проводить их в амбар, как в дверях хижины появились два молодых человека.

– Ад и дьявол! – вскричал один из них, попятившись. – Робер, в доме полно чужих!

– А вот и мои сынки! – воскликнул хозяин. – Жак! Робер! Куда это вы, ребятки? Места и на вас хватит.

Услышав это заверение, молодые люди вернулись. Отец представил их баронессе и мне, а затем увел наших слуг, Маргарита же проводила обеих служанок по их просьбе в комнату, отведенную их госпоже.

Молодые люди были крепкими, высокими, широкоплечими, с грубыми лицами и загорелые дочерна. Они поздоровались с нами коротко, но вошедшего в комнату Клода приветствовали как старого знакомого. Потом они сбросили плащи, в которые кутались, сняли кожаные пояса с кинжалами, а потом вытащили из-за кушака пистолеты и положили их на полки.

– Вы хорошо вооружаетесь в дорогу, – заметил я.

– Верно, мосье, – ответил Робер. – Из Страсбурга мы выехали вечером, а в этом лесу после темноты надо ухо держать востро. Слава о нем идет дурная, можете мне поверить.

– Почему? – спросила баронесса. – Разве в окрестностях есть разбойники?

– Поговаривают, что так, сударыня. Только я, сколько ни ездил по лесу и днем и ночью, ни с одним не повстречался.

Тут вернулась Маргарита, пасынки отвели ее в дальний угол и несколько минут шептались с ней о чем-то. Судя по взглядам, которые они на нас бросали, я решил, что они расспрашивают ее, зачем мы тут.

Баронесса тем временем посетовала, что ее супруг будет очень о ней тревожиться. Она намеревалась послать к нему слугу с известием, что ей пришлось задержаться до утра, но после слов Робера не знала, как поступить.

Из затруднения ее вывел Клод. Он сообщил ей, что сейчас же отправляется в Страсбург – так коли она даст ему письмо, оно будет незамедлительно доставлено барону, он ручается.

– Как же ты не боишься повстречаться с разбойниками? – спросил я.

– Увы, мосье! Бедному человеку с большой семьей не след отказываться от выгодного поручения потому лишь, что он за свою шкуру опасается. Может, господин барон пожалует мне что-нибудь за мои труды. Да к тому же взять у меня, кроме жизни, нечего, а она разбойникам ни к чему.

Я счел его доводы слабыми и посоветовал ему дожждаться утра. Однако баронесса меня не поддержала, и я вынужден был умолкнуть. Как позже я узнал, баронесса Линденберг имела привычку пренебрегать чужими интересами ради своих, и желание послать Клода в Страсбург заставило ее забыть про грозившую ему опасность. Было решено, что он пустится в путь сейчас же. Баронесса написала супругу, а я черкнул несколько строк моему банкиру, оповещая его, что буду в Страсбурге только на следующий день. Клод забрал наши послания и покинул хижину.

Баронесса пожаловалась на усталость: не только она проехала большой путь, но кучер то и дело сбивался с дороги в лесу. Она попросила Маргариту проводить ее в отведенную ей комнату, чтобы полчаса отдохнуть. Немедленно позвали одну из служанок, она явилась со свечой, и баронесса поднялась следом за ней по лестнице.

В комнате, где я находился, начали накрывать на стол, и Маргарита дала мне понять, что я ей мешаю. Намеки ее были такими прозрачными, что я попросил ее пасынков показать мне мою комнату и выразил желание подождать ужина там.

– Какая это комната, матушка? – спросил Робер.

– Та, где занавески зеленые, – ответила она. – Я только сейчас кончила ее прибирать и постелила свежие простыни. Если господину хочется поваляться на кровати, пусть сам ее перестилает, а я не стану.

– Сегодня, матушка, ты что-то очень сердита, хоть нам это и не внове. Я провожу вас, мосье.

Он открыл дверь и направился к узкой лестнице.

– Что же ты без свечи? – спросила Маргарита. – Себе хочешь шею сломать или господину?

Она прошла мимо меня и сунула горящую свечу в руку Робера, и он начал подниматься по ступенькам. Жак спиной ко мне расстилал скатерть на столе. Маргарита выбрала эту минуту, когда на нас никто не смотрел, чтобы схватить меня за руку и сильно ее сжать.

– На простыни поглядите! – шепнула она, прошла мимо меня назад к столу и опять занялась ужином.

Растерявшись от ее неожиданной выходки, я стоял как окаменелый, пока меня не окликнул Робер. Я поднялся следом за ним, и он распахнул передо мной дверь комнаты, где в очаге весело пылали поленья. Поставив свечу на стол, он осведомился, не нужно ли мне чего-нибудь еще, а когда я ответил отрицательно, удалился. Едва оставшись один, я, как ты можешь легко себе представить, тотчас последовал настоянию Маргариты – взял свечу, быстро подошел к кровати и откинул одеяло. Каковы же были мое изумление, мой ужас, когда я увидел, что простыни все в крови!

Мысли вихрем закружились в моем мозгу. Разбойники, грабящие в этом лесу, восклицание Маргариты, касавшееся ее детей, оружие и внешность сыновей хозяина, а также бесчисленные рассказы, которые мне доводилось слушать, о том, как наемные кучера сговариваются с бандитами, – все это разом припомнилось мне, ввергнув меня в страх и растерянность. Я начал обдумывать, как убедиться наверное, и тут услышал, что внизу кто-то быстро расхаживает взад и вперед. Теперь малейший пустяк казался мне подозрительным, я тихо подошел к окну, которое, несмотря на холод, было открыто, чтобы проветрить комнату, и осмелился выглянуть наружу. В лучах луны я различил фигуру мужчины и без труда узнал в нем нашего хозяина. Я начал следить за ним. Он быстро прошел несколько шагов, потом остановился и прислушался. Он притопывал, хлопал себя кулаками по бокам, точно стараясь согреться. Но при каждом самом тихом звуке – доносился ли голос из нижней комнаты, пролетала ли над ним летучая мышь или ветер шуршал безлистыми ветками – он вздрагивал и с тревогой осматривался по сторонам.

– Чума на него! – буркнул он. – Где его черти носят?

Произнес он свое проклятие вполголоса, но прямо у меня под окном, так что я хорошо расслышал каждое слово.

Тут послышались приближающиеся шаги. Батист пошел в ту сторону и встретил невысокого человека с рожком на груди – моего верного Клода, которого я полагал на пути в Страсбург. Думая, что разговор их поможет мне разобраться во всем, я поспешил принять меры, чтобы остаться незамеченным, и задул свечу, стоявшую на столике у кровати. Огонь в очаге отбрасывал мало света и не мог меня выдать. Я торопливо вернулся к окну.

Оба они стояли прямо под ним. Видимо, за время моего краткого отсутствия дровосек попрекнул Клода, что он так замешкался, – во всяком случае, тот оправдывался.

– Ну теперь, – добавил он, – мое усердие искупит эту задержку.

– В таком случае, – сказал Батист, – я тебя охотно прощу. А впрочем, добычу-то мы делим поровну, так торопиться тебе следует для себя же. Жаль было бы упустить такой жирный кусок! Ты говоришь, что этот испанец богат?

– Его слуга хвастал в гостинице, что вещи в его коляске стоят побольше двух тысяч пистолей.

Ах, какие проклятия я обрушил на Стефано за это опрометчивое бахвальство!

– И мне сказали, – продолжал кучер, – что баронесса везет с собой шкатулку с драгоценностями несметной цены!

– Может, и так, но лучше бы она сюда не сворачивала. Испанец был верной добычей. Мальчики и я легко справились бы с ним и его слугой, и две тысячи пистолей мы поделили

бы между нами четверыми. А теперь придется взять в долю всю шайку, да к тому же они еще могут ускользнуть из наших рук. Если наши друзья разойдутся по своим дозорным постам прежде, чем ты доберешься до пещеры, все будет потеряно. У баронессы слишком много слуг, нам с ними не справиться. Если наши товарищи не подоспеют вовремя, придется нам завтра отпустить всех этих путешественников целыми и невредимыми.

– Такая неудача, что баронессу вез кучер, который ничего про наш договор не знает! Ну да не бойся, брат Батист. Через час я доберусь до пещеры. Сейчас всего десять, так что к полуночи жди шайку. Да только последи за своей хозяйкой. Ты же знаешь, как ей не по нутру наша жизнь. А вдруг она найдет способ предупредить слуг баронессы!

– А! Она будет помалкивать. Меня до смерти боится, а своих детей любит крепко, вот и не посмеет нас выдать. К тому же Жак и Робер глаз с нее не спускают, а за дверь ей и шагу ступить не дозволяется. Слуги выдворены в амбар, и уж я постараюсь, чтобы до прибытия наших друзей тут все было спокойно. Знай я, что ты их непременно разыщешь, так тех, кто в доме, теперь же отправил бы на тот свет. Но только опасаясь, что ты бандитов не найдешь, а утром слуги хватятся своих господ.

– А коли он или она догадаются о твоих замыслах?

– Ну, тогда придется прирезать тех, кто в доме, и попробовать прикончить остальных. Однако, чем про это толковать, ты бы поторопился в пещеру. До одиннадцати бандиты из нее никогда не уходят, и ты, коли поторопишься, еще успеешь их перехватить.

– Скажи Роберу, что я возьму его лошадь. Моя оборвала уздечку и сбежала в лес. Пароль-то какой?

– Награда за храбрость.

– Запомнил. Ну, так я скачу в пещеру.

– А я пойду к моим гостям, не то как бы они чего не заподозрили. Доброго пути. Да поторапливайся!

Достойные друзья разошлись – один побежал к конюшне, а другой вернулся в дом.

Ты можешь вообразить, что я чувствовал во время этого разговора, из которого не упустил ни слова. Мысли у меня мешались, я не видел никакого способа избежать опасности. Я понимал, что сопротивление окажется тщетным: ведь я один и не вооружен, а их – трое. Тем не менее я твердо решил продать свою жизнь как можно дороже. Страшась, что Батист заметит мое отсутствие и сообразит, что мне удалось услышать, с каким поручением он отправил Клода, я поспешил вновь зажечь свечу и спустился вниз. Я увидел стол, накрытый на шестерых. Баронесса сидела у огня, Маргарита смешивала салат, а ее пасынки шептались в дальнем углу комнаты. Батист, которому надо было обойти вокруг дома, еще не вернулся. Я молча сел напротив баронессы.

Взгляд, брошенный на Маргариту, сказал ей, что ее предупреждение не пропало втуне. Теперь она мне показалась совсем иной! То, что прежде выглядело угрюмостью и сварливостью, на самом деле было ненавистью к мужу с пасынками и состраданием ко мне. Я видел в ней теперь единственную мою опору, но, зная, как подозрительно следит за ней муж, не мог надеяться на ее помощь.

Как я ни старался, мне не удалось скрыть мое волнение. Оно ясно отражалось на моем лице. Я побледнел, слова и движения у меня стали неуверенными, смущенными. Молодые люди заметили это и осведомились о причине. Я сослался на утомление и непривычку к зимним холодам. Поверили они мне или нет, не знаю, но хотя бы перестали задавать мне вопросы. Я попытался отвлечься от нависшей надо мной угрозы и завел разговор с баронессой о том о сем. Заговорил о Германии, сообщил, что направляюсь туда... Бог знает, сколь мало я в ту минуту надеялся побывать там! Она отвечала мне с величайшей непринужденностью и любезностью, объявила, что знакомство со мной более чем вознаградило ее за эту задержку, и с настойчивостью пригласила меня непременно погостить в замке Линденберг. При этих словах

молодые люди обменялись злобной улыбкой, говорившей, что судьба ей очень ворожит, если она и сама когда-нибудь вернется в замок. Я заметил эту улыбку, но сумел скрыть чувство, которое она пробудила в моей груди, и продолжал беседовать с баронессой, но так часто заговаривался, что – как эта дама сказала мне впоследствии – у нее возникло подозрение, в своем ли я уме. Но ведь говорил я об одном, а мысли мои были всецело заняты другим. Я размышлял, как мне выскользнуть из хижины, пробраться в амбар и сообщить слугам о намерениях нашего гостеприимного хозяина. Однако вскоре я убедился, что попытка моя оказалась бы тщетной. Жак и Робер следили за каждым моим движением, и мне пришлось отбросить этот план. Оставалось только надеяться, что Клод не разыщет бандитов. Ведь тогда, если верить тому, что я услышал, нам позволят продолжить путь без всяких помех.

Когда вошел Батист, я невольно содрогнулся. Он рассыпался в извинениях за свое долгое отсутствие, но «его задержали дела, которые невозможно было отложить». Затем он стал испрашивать нашего разрешения ему и его семье поужинать за одним столом с нами, дескать, иначе почтение не позволит им подобной вольности. О, как я в душе проклинал лицемера! Как тягостно мне было присутствие того, кто намеревался лишить меня жизни, в то время бесконечно мне дорогой! У меня ведь были все основания ею дорожить – юность, богатство, знатность, образование и блистательное будущее. И вот это будущее у меня намеревались отнять самым подлым образом. А я должен был притворяться и с подобием благодарности принимать лживые заверения того, кто прижимал кинжал к моей груди.

Разрешение, которого искал наш хозяин, было немедленно ему дано, и мы сели за стол. Я и баронесса с одной стороны, сыновья напротив нас, спиной к двери, Батист во главе стола рядом с баронессой, а по другую его руку стоял прибор его жены. Она вскоре вошла в комнату и поставила на стол блюда с простыми, но сытными крестьянскими кушаньями. Наш хозяин тотчас счел необходимым извиниться за скромность ужина: он ведь не был предупрежден о нашем приезде и может предложить нам лишь еду, готовившуюся для его семьи.

– Но, – добавил он, – если случай задержит моих благородных гостей у нас дольше, нежели они намеревались, я надеюсь, что сумею угостить их получше.

Злодей! Я отлично понял, на какой случай он намекает, и содрогнулся при мысли об уготованном нам угощении.

Баронесса же, не ведая о грозящей нам опасности, как будто совсем перестала огорчаться из-за того, что ей пришлось прервать свой путь. Она смеялась и с величайшей веселостью беседовала с хозяином и его сыновьями. Я тщетно пытался следовать ее примеру. Моя веселость была столь вымученной, что мои усилия не укрылись от наблюдательности Батиста.

– Ну-ну, мосье, подбодритесь! – сказал он. – Видно, вы еще не совсем оправились от усталости. Ну да я знаю средство разогнать ваше уныние! Что вы скажете о стаканчике превосходного старого вина, доставшегося мне еще от покойного родителя моего? Господи, упокой его душу в селениях праведных! Я редко угощаю этим вином. Но ведь такие гости не каждый день оказывают честь моему дому, и ради подобного случая как не распечатать бутылочку!

Тут он дал своей жене ключ и растолковал ей, где стоит вино, про которое он говорил. Ей это поручение пришлось не по вкусу: ключ она взяла с расстроенным видом и не торопилась встать из-за стола.

– Ты меня слышала? – сердитым голосом спросил Батист.

Маргарита бросила на него взгляд, в котором страх мешался с гневом, и вышла из комнаты. Муж подозрительно смотрел ей вслед, пока за ней не затворилась дверь.

Вскоре она вернулась с бутылкой, запечатанной желтым воском, поставила ее на стол и возвратила ключ мужу. Я не сомневался, что вином этим нас потчуют не просто так, и с беспокойством наблюдал каждое движение Маргариты. Она ополаскивала небольшие роговые кубки и, ставя их перед мужем, заметила мой взгляд. Улучив мгновение, когда внимание бандитов

было от нее отвлечено, она покачала головой в знак, чтобы я не пригубливал этого напитка, а затем села на свое место.

Тем временем наш хозяин извлек пробку и, наполнив два кубка, придвинул их баронессе и мне. Она сначала отнекивалась, но Батист уговаривал ее с такой настойчивостью, что ей пришлось уступить. Опасаясь возбудить подозрения, я без колебаний взял предложенный мне кубок. По цвету и запаху я узнал в вине шампанское, но плававшие сверху крупинки убедили меня, что к нему что-то подмешано. Однако я не мог выдать своей решимости не пить его. Я поднес кубок к губам и притворно испил, а затем внезапно вскочил со стула и, поспешив к тазу с водой, в котором Маргарита ополаскивала кубки, сделал вид, будто выплюнул вино с отвращением, а сам незаметно отлил из кубка в тазик.

Бандиты встревожились, Жак приподнялся со стула, прижав руку к груди, и я успел разглядеть полуобнаженный кинжал, но вернулся на свое место с притворным спокойствием, словно не заметив их смятения.

– Вы не угодили моему вкусу, мой добрый друг, – сказал я Батисту. – От шампанского мне всегда становится дурно. Я успел сделать несколько глотков, прежде чем сообразил, какое вино пью, и, боюсь, мне придется поплатиться за мою опрометчивость.

Батист обменялся с Жаком недоверчивым взглядом.

– Так, наверное, вам и запах его неприятен, – сказал Робер, встал и забрал у меня кубок. Я заметил, как он проверил, много ли в нем осталось вина.

– Выпил достаточно, – шепнул он брату, возвращаясь на свое место.

Маргарита посмотрела на меня с испугом, но мой взгляд уверил ее, что я не проглотил ни капли зелья.

В тревоге я ждал, как скажется роковой напиток на баронессе. Я не сомневался, что замеченные мною крупинки были отравой, и горько сожалел о невозможности предостеречь ее. Однако прошло несколько минут, прежде чем веки ее сомкнулись, голова упала на плечо и она погрузилась в глубокий сон. Я притворился, будто ничего не заметил, и продолжал обращаться к Батисту со всей веселостью, на какую оказался способен, но он теперь отвечал мне принужденно, взирая на меня с опаской и недоумением. Затем бандиты начали перешептываться между собой. Мое положение ухудшалось с каждым мгновением, и притворство давалось мне все труднее. Равно страшаюсь и появления их сообщников, и того, что они догадаются о моем проникновении в их замысел, я не знал, как обезоружить подозрения, которые, бесспорно, им внушил. И вновь из затруднения меня вывела добрая Маргарита. Проходя за спиной пасынков, она замедлила шаг прямо напротив меня, зажмурила глаза и наклонила голову к плечу. Этот знак тотчас вывел меня из нерешительности. Он сказал мне, что я должен притвориться, будто напиток возымел свое действие и меня, подобно баронессе, сморил сон. Я не замедлил последовать этому совету и через несколько минут уже словно бы крепко спал.

– Ну вот! – воскликнул Батист, когда я откинулся на спинку стула. – Наконец-то. А я уж было подумал, что он догадался о наших планах и нам придется прикончить его сразу же.

– Так почему бы и не прикончить его сразу? – спросил кровожадный Жак. – Зачем оставлять ему возможность донести на нас? Маргарита, подай-ка мой пистолет. С него хватит одной пули.

– Ну а если, – возразил его родитель, – наши друзья не явятся? Хорошенький вид у нас будет утром, когда слуга захочет его увидеть! Нет, нет, Жак! Надо дожидаться наших товарищей. С ними мы слуг отправим к праотцам вслед за их господами, и добыча будет наша. Коли Клод не разыщет шайку, нам надо будет набраться терпения и отпустить всю компанию подброду. Эх, мальчики, мальчики! Вернись вы на пять минут раньше, с испанцем мы бы разделились и две тысячи пистолей были бы наши. Но вы вечно куда-то пропадаете, когда для вас есть работа, бездельники проклятые!

– Так ведь, батюшка, – возразил Жак, – поступи мы по-моему, давно бы все сделалось. Ты, да Робер, да Клод со мной, неужто мы вчетвером не одолели бы слуг, хоть их и вдвое больше? Только вот Клода нет, и теперь поздно жалеть об этом. Придется дожидаться шайку. Ну, да если нынче мы их не тронем, так утром перехватим всю компанию на дороге.

– И то верно, – ответил Батист. – Маргарита, ты дала сонное питье служанкам?

Она ответила утвердительно.

– Ну так все в порядке. Да будет вам, мальчики! Как бы дело ни обернулось, внакладе мы не останемся. Опасности нет никакой, получить можем много и ничего не потеряем.

Тут до моего слуха донесся лошадиный топот. О, как ужаснул меня этот звук! На лбу у меня выступил холодный пот, и я был объят смертным ужасом. Не утешило меня и горестное восклицание сострадательной Маргариты:

– Боже всемогущий! Они погибли!

К счастью, дровосек и его сыновья повернулись к двери, слышав своих товарищей, и не смотрели на меня, не то сила моего волнения показала бы им, что я лишь притворяюсь спящим.

– Открывай! Открывай! – раздались голоса снаружи.

– Да-да! – весело вскричал Батист. – Это наши друзья! Ну, теперь добыча от нас не ускользнет. Живей, живей, ребятки! Ведите их к амбару. А что делать там, вы знаете.

Робер поспешил открыть дверь.

– Только, – сказал Жак, беря свое оружие, – я сначала расправлюсь с этими сонями.

– Нет-нет! – ответил отец. – Иди в амбар, там ты нужнее. А об этих и служанках наверху я сам позабочусь.

Жак подчинился и вышел следом за братом. Они заговорили с новоприбывшими. Затем я услышал, как разбойники спешили, и заключил, что они направились к амбару.

– Правильно! – пробормотал Батист. – Сошли с лошадей, чтобы захватить их врасплох. Отлично, отлично! А теперь за дело.

Я услышал, как он подошел к шкафчику в дальнем углу и отпер его. Тут же меня потрясли за плечо.

– Пора! – прошептала Маргарита.

Я открыл глаза. Батист стоял спиной ко мне. В комнате кроме нас были только Маргарита и спящая баронесса. Злодей уже достал из шкафчика кинжал и, видимо, проверял, достаточно ли он наточен. А я не потрудился вооружиться! Но мне было ясно, что другого шанса спастись у меня не будет, и, решив не упустить его, я вскочил, бросился на ничего не подозревавшего Батиста, схватил его за горло и сжал так, что он не сумел даже вскрикнуть. Ты помнишь, как в Саламанке я славился силой рук. Теперь она спасла меня. Захваченный врасплох, перепугавшийся, задыхающийся злодей не был опасным противником. Я опрокинул его на пол и еще сильнее сжал ему горло. Он замер без движения, а Маргарита вырвала кинжал из его руки и погрузила острие ему в сердце. А потом ударила еще несколько раз, пока он не испустил дух.

Едва завершив это ужасное, но необходимое деяние, Маргарита позвала меня следовать за ней.

– Наше единственное спасение в бегстве, – сказала она. – Поспешите! Быстрее! Быстрее!



Я без колебаний послушался ее, но, не желая оставлять баронессу мести разбойников, поднял ее на руки, все еще спящую, и вышел из хижины следом за Маргаритой. Лошади разбойников были привязаны возле двери. Моя спасительница вскочила на одну, я последовал ее примеру, усадив баронессу на седло перед собой, и прищпорил коня. Нашей единственной надеждой было достичь Страсбурга, до которого оказалось гораздо ближе, чем уверял меня коварный Клод. Маргарита хорошо знала дорогу и погнала лошадь галопом впереди меня. Но нам пришлось промчаться мимо амбара, где разбойники убивали наших слуг. Двери были открыты, мы услышали вопли убиваемых и проклетия убийц! То, что я почувствовал тогда, невозможно выразить словами!

Жак услышал топот наших лошадей, когда мы проносились мимо амбара. Он выскочил наружу с горящим факелом в руке и без труда узнал нас.

– Измена! Измена! – закричал он своим товарищам.

Они тотчас оставили свою кровавую работу и кинулись к лошадям. Больше мы ничего не расслышали. Я вонзил шпоры в бока моего скакуна, а Маргарита колола свою лошадь острием

кинжала, который уже сослужил нам такую хорошую службу. Мы летели как молнии, и вскоре лес остался позади. Вдали показался шпиль страсбургской колокольни, но тут мы услышали, что разбойники настигают нас. Маргарита оглянулась и увидела, что они несутся вниз по склону небольшого холма, который мы миновали минуту назад. Тщетно мы понукали наших лошадей. Шум погони приближался.

– Мы погибли! – вскричала она. – Они уже близко!

– Вперед! – ответил я. – Со стороны города сюда кто-то скачет!

Мы удвоили наши усилия и вскоре увидели большой конный отряд, мчавшийся навстречу нам. Всадники чуть было не проскакали мимо.

– Остановитесь! – пронзительно крикнула Маргарита. – Спасите нас! Ради бога, спасите нас!

Передний всадник, видимо проводник, сразу же натянул поводья.

– Это она! Она! – воскликнул он и спешил. – Остановитесь, ваша милость! Они спаслись. Это моя матушка!

В тот же миг Маргарита прыгнула на землю, обняла его и осыпала поцелуями. Остальные всадники остановились.

– Где баронесса Линденберг? – спросил громкий голос. – Она не с вами? Где она?

Говоривший умолк, увидев, что баронесса без чувств лежит в моих объятиях, и поспешно принял ее из моих рук. Ее непробудный сон сначала напугал его, но, ощутив ровное биение ее сердца, он понял, что она жива.

– Благодарение Богу! – произнес он. – Она невредима.

Я перебил его и указал на приближающихся разбойников. При первых же моих словах отряд, состоявший главным образом из солдат, устремился к ним навстречу. Но злодеи предпочли не вступать в бой. Обнаружив, с кем им предстоит иметь дело, они повернули лошадей и устремились в лес, а наши избавители последовали за ними. Тем временем незнакомец – или барон Линденберг, как я сразу догадался, – поблагодарив меня за спасение супруги, предложил незамедлительно поспешить в город. Баронессу, все еще во власти дурмана, подняли в седло перед ним, Маргарита и ее сын сели на своих лошадей, и в сопровождении слуг барона мы скоро добрались до гостиницы, где он остановился.

Называлась гостиница «Австрийский орел» и оказалась той самой, где мой банкир, извещенный о моем намерении посетить Страсбург, снял комнаты для меня. Такое совпадение меня очень обрадовало, ибо давало возможность поддержать знакомство с бароном, что, как я полагал, могло оказаться полезным для меня в Германии. Баронессу сразу же уложили в постель и послали за врачом, и он прописал микстуру, которая должна была послужить противоядием опию, подмешанному в шампанское. Когда микстуру влили ей в рот, она была оставлена попечениям хозяйки, а барон обратился ко мне с просьбой рассказать все подробности случившегося. Я тотчас изъявил согласие, так как страх за Стефано, которого мне пришлось оставить на милость жестоких бандитов, не позволял мне отойти ко сну прежде, чем я узнаю о его судьбе. Но слишком скоро я услышал, что мой верный слуга погиб. Солдаты, преследовавшие бандитов, вернулись, пока я беседовал с бароном. Они сообщили, что им удалось настичь разбойников. Нечистая совесть и истинное мужество несовместимы. Негодяи бросились к ногам своих преследователей и, сдавшись без единого удара, указали дорогу к своему тайному убежищу, сообщили сигналы, с помощью которых можно было заманить в засаду остальных членов шайки, то есть, короче говоря, целиком изобличили свою трусость и низость. Таким образом, вся шайка, насчитывавшая почти шестьдесят человек, была схвачена. Связанных разбойников повели в Страсбург, а несколько солдат, взяв одного из них в проводники, отправились в хижину. Сначала они зашли в роковой амбар, где, к счастью, нашли двух слуг барона живыми, хотя и с тяжкими ранами. Остальные испустили дух под кинжалами бандитов, в том числе и мой злополучный Стефано.

Торопясь догнать нас, напуганные нашим бегством разбойники не заходили в хижину, а потому солдаты нашли обеих служанок целыми и невредимыми, хотя и погруженными в такой же мертвый сон, что и их госпожа. Больше в хижине никого не было, кроме ребенка лет четырех. Солдаты и его привезли с собой. Мы как раз гадали, откуда там мог взяться этот бедняжка, но тут в комнату вбежала Маргарита, держа его в объятиях. Она упала на колени перед офицером, который рассказывал нам обо всем этом, и принялась тысячекратно благословлять его за то, что он спас ее дитя.

Когда первый взрыв материнской нежности прошел, я попросил ее поведать, каким образом она стала женой человека, чья преступная натура, казалось, была столь ей противна. Она опустила глаза и утерла со щек увлажнившие их слезы.

– Благородные господа, – начала она после долгого молчания. – Я намерена просить вас о милости. А вам надобно знать, кого вы облагодетельствуете. И потому я не откажу вам в признании, которое покроет меня стыдом. Но дозвоьте мне сделать его кратким. Я родилась в Страсбурге в почтенной семье, которую пока не назову. Мой отец еще жив и не заслужил того, чтобы мой позор коснулся и его. Но потом, если вы согласитесь выполнить мою просьбу, я открою вам его имя. Черный негодяй завладел моим сердцем, и ради него я покинула отчий кров. Но если страсть и взяла верх над добродетелью, я все же не пала в пучину порока, хотя это и обычная участь женщины, сделавшей первый ложный шаг. Я любила моего соблазнителя, истинно любила. Я была верна его ложу. Этот младенец и мальчик, который, господин барон, прискакал сказать вам о том, что грозило вашей супруге, – это два залога нашей взаимной любви. Даже и сейчас я оплакиваю его потерю, хотя ему обязана всеми горестями моей тяжелой жизни.

Он был благородного происхождения, но промотал отцовское наследство. Родственники, полагая, что он позорит их фамильное имя, отреклись от него. Его бесчинства навлекли на него гнев полиции. Он вынужден был бежать из Страсбурга и не нашел иного средства спастись от нищеты, как присоединиться к бандитам, укрывавшимся в лесах. Шайка эта состояла главным образом из таких же повес хорошего происхождения, которые очутились в подобном же положении. Я твердо решила не покидать его, а потому последовала за ним в разбойничью пещеру и делила с ним все тяготы, неизбежные для тех, кто живет грабежом. Но хотя я знала, что мы существуем плодами разбоя, ужасные обстоятельства, сопутствующие занятию моего любовника, мне оставались неведомы. Он скрывал их от меня с величайшим тщанием, зная, что я еще не пала настолько низко, чтобы равнодушно смотреть на убийства. Он полагал – и не ошибался, – что я с отвращением вырвусь из объятий убийцы. Восемь лет обладания не угасили его любовь ко мне, и он ревностно следил, чтобы ничто не могло пробудить во мне подозрения, и я все так же пребывала в неведении о кровавых преступлениях, к которым он был причастен не меньше остальных. И он преуспел. Только после смерти моего соблазнителя я узнала, что руки его были обагрены кровью невинных!

И вот в роковую ночь его принесли в пещеру покрытого ранами. Он получил их, напав на английского путешественника, который тут же пал жертвой мести его товарищей. Успев только попросить у меня прощения за все зло, которое мне причинил, он прижал мою руку к губам и испустил дух. Горе мое было невыразимым, а когда оно чуть поутихло, я решила вернуться в Страсбург с моими детьми и броситься к ногам отца, умоляя его о прощении, которое не чаяла получить. Каков же был мой ужас, когда я узнала, что никого из тех, кому известен тайный приют бандитов, они от себя не отпускают и что я не только должна оставить всякую надежду на возвращение к честным людям, но и тотчас избрать в мужа одного из членов шайки! Мои мольбы и возражения были тщетными. Они бросили жребий, кому я достанусь, и он выпал гнусному Батисту. Разбойник, который когда-то был монахом, после шутовской церемонии объявил нас обвенчанными. Меня и моих детей отдали во власть моего нового мужа, и он тотчас увез нас в свой дом.

Он заверил меня, что давно уже пылает ко мне страстью, но дружба с покойным моим любовником заставляла его молчать. Он попытался примирить меня с моей судьбой и некоторое время обходился со мной мягко и ласково. Но потом, убедившись, что мое отвращение к нему лишь увеличивается, он силой добился того, в чем я ему отказывала. Мне осталось только с терпением переносить мои страдания. Я знала, что заслужила их сполна. О бегстве нечего было и помышлять. Мои дети находились во власти Батиста, и он поклялся убить их, если я попробую спастись. А у меня было, увы, много случаев убедиться в варварской жестокости его натуры, и я знала, что он выполнит свою клятву с лихвой. Печальный опыт убедил меня в ужасе моего положения. Мой первый любовник тщательно скрывал от меня мерзости своего ремесла, а Батист, напротив, наслаждался, хвастая ими передо мной, и хотел приучить меня к крови и убийствам.

По натуре я горяча и своевольна, но не бессердечна. Поведение мое было легкомысленным, но я сохраняла совесть. Судите же сами, что я должна была испытывать, постоянно наблюдая самые отвратительные и кровавые преступления! Судите же, как тяжело мне было жить с человеком, который принимал ничего не подозревающего гостя с самым приветливым радушием, а сам уже готовил ему гибель. Тоска и бессилие подтачивали мое здоровье. Немногие прелести, дарованные мне природой, увяли, и уныние на моем лице отражало муки моего сердца. Тысячу раз я порывалась наложить на себя руки, но мысль о детях удерживала меня. Мной овладевал трепет при мысли, что они останутся во власти деспота, и трепетала я от страха за их добродетель даже больше, чем от страха за их жизнь. Вторым был еще слишком мал, чтобы получать пользу от моих наставлений, но в сердце старшего я неустанно тщила утвердить те нравственные начала, которые не позволили бы ему вступить на преступный путь отца и матери. Он слушал меня с кротостью, а вернее – с жадностью. С самых первых лет было видно, что он не создан для общества злодеев, и единственным утешением в моих горестях служило наблюдение за тем, как в моем Теодоре росли и крепились добрые чувства.

Таково было мое положение, когда предательство кучера привело дону Альфонсо в нашу хижину. Его юность, благородный облик и учтивость пробудили во мне сильнейшее сострадание. Отсутствие сыновей моего мужа позволило мне сделать то, о чем я давно думала, и я решила рискнуть всем, лишь бы спасти молодого чужестранца. Бдительность Батиста помешала мне предупредить дону Альфонсо о грозящей ему гибели. Я знала, что карой мне за это будет мгновенная смерть, а как ни мрачна была моя жизнь, у меня не доставало храбрости пожертвовать ею ради спасения чужой. Единственной моей надеждой было искать помощи в Страсбурге. Это я и решила сделать, однако не оставляя попыток незаметно предостеречь дону Альфонсо. По приказанию Батиста я поднялась наверх приготовить ему постель и взяла простыни, на которых запеклась кровь путешественника, убитого несколько ночей назад. Я уповала, что такой знак будет сразу замечен нашим гостем и он поймет коварный замысел моего мужа. Но я приняла и другие меры для его спасения. Теодор лежал больной. Я прокралась в его каморку тайком от моего тирана и рассказала ему свой план. Он взялся выполнить его с величайшей охотой и оделся со всей поспешностью. Я обвязала его под мышками простыней и спустила из окна. Он прокрался в конюшню, взял лошадь Клода и поскакал в Страсбург. Если бы ему повстречались разбойники, он сказал бы, что его послал с поручением Батист, но, по счастью, он добрался до города без всяких помех и немедленно обратился за помощью в магистрат. Его рассказ передавался из уст в уста и так достиг слуха его милости барона. Тревожась за свою супругу, которая должна была вечером проехать по этой дороге, он предположил, что она могла попасть в руки разбойников, а потому поехал с солдатами, которых Теодор взялся проводить до хижины и которые подросли как раз вовремя, чтобы не дать нам снова попасть в руки наших врагов.



Тут я перебил Маргариту и спросил, почему мне дали сонный напиток. Она ответила, что Батист хотел обезопаситься на случай, если при мне есть оружие. Он всегда прибегал к этой предосторожности, потому что путешественники, понимая, что пощады не будет, конечно, постарались бы продать свою жизнь подороже.

Затем барон осведомился у Маргариты, что она намеревалась делать дальше. А я тотчас сказал, что хотел бы выразить делом свою благодарность ей за спасение.

– Полная отвращения к миру, – ответила она, – в котором на мою долю выпадали одни беды, я хотела бы только одного – удалиться в монастырь. Но сначала я должна устроить судьбу своих детей. Я узнала, что моя мать скончалась, быть может безвременно сведенная в могилу горем, которое я ей причинила, бежав из дома. Отец мой еще жив. Он добрый человек и, может быть, благородные господа, несмотря на мою неблагодарность и неразумие, дарует мне прощение и возьмет на попечение своих внуков, если вы походатайствуете за меня. Так вы тысячекратно оплатите мне за услугу, которую я вам оказала.

Барон и я заверили Маргариту, что не пожалеем усилий, лишь бы испросить ей прощение; если же ее отец окажется неумолим, за своих сыновей она может быть спокойна. Я обещал позаботиться о Теодоре, а барон обязался взять младшего под свое покровительство. Обрадованная мать благодарила нас со слезами за наше великодушие, как она выразилась, хотя, разумеется, это был лишь малый знак нашей признательности. Затем она вышла из комнаты, чтобы уложить в постель младшего, совсем засыпавшего от усталости.

Баронесса, когда пришла в себя и узнала, от какой страшной опасности я ее спас, не находила слов для изъявления своей благодарности. Ее муж не меньше ее настаивал, чтобы я отправился с ними в их баварский замок, и я сдался на их горячие уговоры. В Страсбурге мы провели еще неделю и, разумеется, не забыли обещания, данного Маргарите. Обратившись к ее отцу, мы преуспели свыше всяких ожиданий. Добрый старик потерял любимую супругу, и у них не было других детей, кроме этой злополучной дочери, о которой он четырнадцать лет не получал никаких известий. Его окружали дальние родственники, с нетерпением ожидавшие его смерти в чаянии наследства. И когда Маргарита столь внезапно вернулась, он почел ее даром Небес, принял дочь и ее детей с распростертыми объятиями и потребовал, чтобы они незамедлительно поселились под его кровом. Разочарованные родственники вынуждены были отправиться восвояси. Старик и слушать не желал о том, что его дочь уйдет в монастырь. Он объявил, что без нее счастлив не будет, и она без особого труда позволила убедить себя отказаться от своего намерения. Однако никакие настояния не убедили Теодора отказаться от плана, придуманного мной для устройства его судьбы. Перед моим отъездом он со слезами на глазах умолял меня взять его к себе на службу. Он расписывал свои юные таланты самыми яркими красками и убеждал меня, что в дороге мне никак без него не обойтись. Я вовсе не желал обременять себя мальчиком, которому только-только исполнилось четырнадцать лет, полагая, что он будет мне обузой. Тем не менее я не устоял перед мольбами милого отрока, который и правда был наделен многими добрыми качествами. Согласия матери и деда отпустить его со мной он добился лишь с большим трудом, но в конце концов был возведен в звание моего пажа. После недели в Страсбурге мы с Теодором отправились в Баварию в обществе барона и его супруги. Как и я, эти последние вынудили Маргариту принять ценные подарки и для себя, и для младшего сына. Прощаясь с ней, я торжественно обещал вернуть Теодора матери по истечении года.

Я так подробно описал эти события, Лоренцо, чтобы ты понял, каким способом «проходимец Альфонсо д'Альварада втерся в замок Линденберг». Суди же по этим ее словам, много ли стоят заверения твоей тетки!

Том II

Глава 1

*Сгинь! Скройся с глаз! Вернись обратно в землю!
Застыла кровь твоя, в костях нет мозга,
Незряч твой взгляд, который ты не сводишь
С меня...
Сгинь, жуткий призрак! Прочь, обман!*

«Макбет»¹⁴

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ДОНА РАЙМОНДА

Путешествие мое прошло на редкость приятно. В бароне я нашел неглупого человека, но плохо знающего свет. Большую часть жизни он провел, не покидая собственных владений, а потому не блистал изысканностью манер. Однако его отличали прямодушие, веселость и дружелюбие. Я видел от него всевозможные знаки внимания и имел все причины почувствовать к нему большое расположение. Главной его страстью оказалась охота, которую он привык считать важным занятием. Когда он серьезно повествовал о какой-нибудь примечательной травле, так и чудилось, будто речь идет о битве, в которой решалась судьба двух королевств. Сам я кое-что понимаю в тонкостях охоты и вскоре после приезда в Линденберг доказал это на деле. Барон тут же объявил меня украшением рода людского и поклялся мне в вечной дружбе.

Дружба эта вскоре приобрела для меня неизмеримую ценность. В замке Линденберг я впервые увидел твою сестру, прелестную Агнесу. Для меня, чье сердце было свободно, удручая меня своей пустотой, увидеть ее значило полюбить. В Агнесе я нашел все, что могло сделать эту любовь пламенной. Ей тогда едва исполнилось шестнадцать лет, но ее тоненькая стройная фигура уже сформировалась. Она обладала многими дарованиями, особенно отличаясь в музыке и рисовании. Характер у нее был веселый, открытый и кроткий, а изящная простота ее нарядов и манер выгодно контрастировала с ухищрениями и бездушным кокетством парижских дам, общество которых я только что покинул. Едва увидев ее, я почувствовал живейший интерес к ее судьбе и обратился с вопросами к баронессе.

– Она моя племянница, – ответила та. – Вы ведь еще не знаете, дон Альфонсо, что я ваша соотечественница, сестра герцога Медина-Цели. Агнеса – дочь моего второго брата дона Гастона. С колыбели она предназначалась в монахини и скоро примет постриг в Мадриде.

Тут Лоренцо перебил дона Раймонда удивленным восклицанием.

– С колыбели предназначалась в монахини? – повторил он. – Небом клянусь, я впервые об этом слышу!

– Верю, милый Лоренцо, – ответил дон Раймонд. – Но имей терпение. Тебя не меньше удивят некоторые сведения о твоей семье, тебе пока неизвестные, хотя я узнал их из уст самой Агнесы.

Затем он продолжил свой рассказ.

– Ты не можешь не знать, что твои родители, к несчастью, были рабами самого темного суеверия. И все другие их чувства, все другие их страсти подчинялись этому игу. Когда твоя

¹⁴ У. Шекспир. Макбет. Акт III, сцена 4. Перевод Ю. Корнеева.

мать носила под сердцем Агнесу, ее поразили тяжкий недуг, и врач сказал, что его искусство бессильно. Тогда донья Инесилья поклялась, коли ей будет ниспослано исцеление, посвятить будущее дитя служению святой Кларе, если родится девочка, или святому Бенедикту, если родится мальчик. Молитва ее была услышана, недуг ее прошел, Агнеса явилась в мир и тотчас была предназначена для служения святой Кларе.

Дон Гастон охотно согласился с желанием своей супруги, но, зная мнение его брата герцога о монастырской жизни, они вознамерились скрыть от него судьбу, назначенную твоей сестре. Для лучшего сохранения тайны было решено, что Агнеса отправится со своей теткой доньей Родольфой в Германию, куда та отбывала с бароном Линденбергом, женой которого только что стала. Приехав в замок, она поместила малютку Агнесу в соседнюю обитель. Монахини, воспитывавшие ее, выполняли свои обязанности добросовестно – развили в совершенстве ее дарования и пытались внушить ей вкус к уединенности и тихим радостям монастыря. Однако тайный инстинкт подсказал юной отшельнице, что она не рождена для уединения. С веселой вольностью юности она позволяла себе считать смешными многие обряды и церемонии, внушавшие благоговение монахиням, и бывала особенно счастлива, когда бойкое воображение подсказывало ей новые проказы, чтобы допекать суровую аббатису или старую сердитую привратницу. Она думала о предназначенном ей будущем с отвращением. Но ей не предлагали выбора, и она смирилась с решением своих родителей, хотя и не без тайной печали.

Отвращение свое она не сумела скрывать долго, и о нем было доведено до сведения дон Гастона. Лоренцо, он испугался, как бы ты из любви к сестре не воспротивился их плану и не помешал бы обречь ее на горестное существование. Поэтому он решил держать тебя в таком же неведении, как и герцога, пока жертвоприношение не будет совершено. Ее постриг был назначен на время, когда ты отправишься путешествовать. А до тех пор ни единого намека не должно было быть обронено о роковом обете доньи Инесильи. От твоей сестры скрывали, куда тебе можно было бы написать. Твои письма прочитывались, прежде чем их отдавали ей, вымарав все места, которые могли бы дать пищу ее мирским наклонностям. Ответы на твои письма ей диктовали либо тетка, либо дама Кунегунда, ее гувернантка. Все эти подробности я узнал отчасти от Агнесы, а отчасти от баронессы.

Я тут же проникся решимостью спасти эту прелестную девушку от судьбы, столь противной ее склонностям и чуждой ее совершенствам. Я прилагал все старания заслужить ее расположение и не уставал рассказывать про нашу с тобой близкую и давнюю дружбу. Она слушала меня с жадностью и впитывала каждое похвальное слово тебе, а глаза ее благодарили меня за любовь к ее брату. Мое постоянное заботливое внимание наконец завоевало мне ее сердце, и с трудом я добился от нее признания, что она любит меня. Когда же я затем предложил ей покинуть замок Линденберг, она отказалась самым неколебимым образом.

– Будь великодушен, Альфонсо, – сказала она. – Ты владеешь моим сердцем, но распорядись этим даром благородно. Не используй свою власть надо мной для того, чтобы подвинуть меня на шаг, из-за которого мне потом всегда придется краснеть. Я молода и покинута всеми. Брат, единственный мой друг, далек от меня, а все остальные мои родственники поступают со мной как враги. Сжался над моей незащищенностью. Не соблазняй меня на действия, которые покроют меня стыдом, но попытайся снискать благосклонность тех, кто распоряжается мной. Барон тебя почитает. Тетушка, суровая, надменная и презрительная с другими, помнит, что ты вырвал ее из рук убийц, и лишь тебе оказывает доброжелательность и ласку. Так испытай свое влияние на моих опекунов. Если они дадут согласие на наш союз, я отдам тебе руку. То, что ты рассказывал о моем брате, не оставляет сомнения в его радостном согласии. А когда мои родители убедятся в невозможности поставить на своем, они, уповаю, простят мое непослушание и какой-нибудь другой жертвой искупят роковой обет моей матери.

С той минуты, как я увидел Агнесу, у меня возникло намерение во что бы то ни стало понравиться ее родственникам. Теперь же, когда она призналась мне во взаимности, я удвоил

свои усилия. Атаку я вел главным образом на баронессу, ибо легко было убедиться, что в замке ее слово закон. Муж находился у нее в полном подчинении и видел в ней высшее существо. Ей было лет сорок, и в молодости она, несомненно, слыла красавицей, однако прелести ее отличались той пышностью, которую годы щадят мало. Тем не менее часть их она еще сохраняла. Ум ее не был лишен остроты, и она рассуждала весьма здраво, если только не подчинялась предвзвешенным и предубежденным, что с ней, к несчастью, случалось постоянно. Страсти ее были бурными. Свои желания она полагала законом и мстительно преследовала тех, кто им противостоял. Самый добрый друг, самый неумолимый враг – такова была баронесса Линденберг.

Я неустанно старался ей угодить и, увы, слишком в этом преуспел. Казалось, мое внимание было ей приятно, и она обходилась со мной так ласково, как ни с кем другим. Одной из моих ежедневных обязанностей было читать ей вслух часами. Часы эти я предпочел бы проводить с Агнесой, но, понимая, что одобрение тетки будет способствовать нашему соединению, я безропотно нес эту епитимью. Библиотека доньи Родольфы состояла главным образом из старинных испанских романов. Они были ее любимым чтением, и каждый день мне в руку беспощадно вкладывался один из этих утомительных томов. Я читал о скучнейших приключениях Персефореста, Тиранта Белого, Пальмерина Английского и Рыцаря Солнца, пока мне не начинало казаться, что вот-вот книга выпадет из моих слабеющих пальцев. Однако мое общество словно бы доставляло баронессе все больше и больше удовольствия, и это поддерживало меня. Ее расположение ко мне стало настолько заметным, что Агнеса попросила меня воспользоваться первым удобным случаем, чтобы поведать ей о наших чувствах.

Однажды вечером я сидел наедине с донной Родольфой в ее будуаре. Так как в романах этих постоянно трактовалась любовь, Агнесе не разрешалось присутствовать при чтении. Я как раз поздравлял себя с тем, что наконец-то могу закрыть «Любовь Тристана и королевы Изольды»¹⁵, и вдруг...

– Ах, несчастные! – вскричала баронесса. – Что скажете, сеньор? По-вашему, мужчина способен на такую искреннюю и самоотверженную любовь?

– Не мне усомниться в этом! – отвечал я. – Мое собственное сердце дает мне все необходимые доказательства. О, донья Родольфа, если бы у меня была надежда, что вы посмотрите на мою любовь с одобрением! Ах, если бы я мог признаться вам и назвать вам имя моей властительницы, не вызвав вашего гнева!

Она перебила меня:

– А если я избавлю вас от признания? А если я не стану отрицать, что предмет ваших воздыханий не остался мне неизвестным? А если я скажу, что она платит вам взаимностью и не менее искренне, чем вы, оплакивает злополучную клятву, ставшую вам помехой?

– Ах, донья Родольфа! – вскричал я, упав перед ней на колени и прижимая к губам ее руку. – Вы догадались о моей тайне! Каков ваш приговор? Должен ли я отчаяться или могу уповать на вашу благосклонность?

Она не отняла руки, однако отвернулась от меня и свободной рукой закрыла лицо.

– Как могу я отказать вам? – отвечала она. – Ах, дон Альфонсо, я давно заметила, кого вы дарите своим вниманием, но до этой минуты не замечала, как отзывалось оно в моем сердце. И далее я не могу скрывать свою слабость ни от себя, ни от вас. Я уступаю силе моей страсти и признаюсь, что боготворю вас! Три долгих месяца я подавляла свои желания, но сопротивление лишь сделало их необоримее, и я сдаюсь их власти. Гордость, страх, уважение к себе, мой долг перед бароном – все побеждено. Я принесла их в жертву моей любви к вам, но мнится мне, это малая цена за обладание вами.

Она умолкла, ожидая ответа. Суди же сам, мой Лоренцо, в какое смятение ввергло меня это открытие! Я тотчас понял, что воздвиг на пути к своему счастью непреодолимое препят-

¹⁵ *Тристан и Изольда* – персонажи многих средневековых рыцарских романов, несчастные влюбленные.

ствие. Баронесса приписала собственным чарам внимание, которое я оказывал ей ради Агнесы! А бурность ее выражений, взгляды, их сопровождавшие, и известная мне мстительность ее натуры заставили меня трепетать и за себя и за мою возлюбленную. Я хранил молчание, не зная, как отвечать на ее признание. Однако необходимо было как можно быстрее разъяснить ей ее ошибку, скрыв пока имя моей возлюбленной. Едва лишь она завершила меня в своей страсти, как восторг, которым дышали мои черты, сменился смущением и тревогой. Я выпустил ее руку и поднялся с колен. Она тотчас заметила, как я переменялся в лице.

– Что означает это молчание? – произнесла она дрожащим голосом. – Где радость, которую вы заставили меня ожидать?

– Простите меня, сеньора, – отвечал я, – если слова, которые вынуждают меня произнести необходимость, покажутся грубыми и неблагодарными, но не вывести вас из заблуждения, которое, сколь ни лестно оно для меня, вам должно причинить досаду, значило бы стать преступным негодяем в глазах всех. Честь требует объяснить, что за изъявления любви вы приняли внимание, рожденное дружбой. Это же чувство уповал я пробудить в вашем сердце. Уважение к вам и благодарность, которой я обязан барону за его радушие, возбраняли даже помыслить о более нежном. Однако, возможно, этих причин не достало бы, чтобы уберечь меня от ваших чар, если бы мое сердце уже не было отдано другой. Ваши чары, сеньора, способны пленить самых бесчувственных. Ни одно свободное сердце не устоит перед ними. И судьба была милостива ко мне, что мое более мне не принадлежит. Иначе мой жребий был бы вечно укорять себя за нарушение священного долга гостя. Подумайте о нем и вы, благородная дама! Вспомните свои обязательства перед честью и мои – перед бароном и смените на уважение и дружбу те чувства, ответить на которые я не могу!

Баронесса побледнела при этих неожиданных и решительных словах. Она не знала, спит она или бодрствует. Едва она оправилась от ошеломления, как оно сменилось яростью и кровью алой волной вновь прихлынула к ее щекам.

– Злодей! – вскричала она. – Чудовищный обманщик! Так-то ты принял мое любовное признание? Так-то... Но нет! Нет! Этого не может быть и не будет! Альфонсо, узри меня у своих ног! Будь свидетелем моего отчаяния! Взгляни с жалостью на женщину, которая любит тебя всем существом своим! Та, что владеет сейчас твоим сердцем, чем она заслужила такое сокровище? Чем пожертвовала тебе? Что ставит ее выше Родольфы?

Я попытался поднять ее с колен:

– Ради всего святого, сеньора, удержитесь от этих молений. Они тягостны для вас и для меня. Ваши восклицания могут услышать, и ваша тайна станет известна челяди. Я вижу, мое присутствие вас раздражает, так разрешите мне удалиться.

Я повернулся к двери, но баронесса внезапно схватила меня за руку.

– Кто моя счастливая соперница? – произнесла она с угрозой. – Я узнаю ее имя, а когда узнаю!.. Она подвластна мне – ты же просил о моей милости, о моем благоволении! Дай мне только найти ее, дай мне только обнаружить, кто посмел отнять у меня твое сердце, и она претерпит все муки, какие могут измыслить ревность и оскорбленная любовь! Кто она? Отвечай сию же минуту! Не надейся укрыть ее от моей мести! К тебе будут приставлены соглядатаи, каждый твой шаг, каждый взгляд будут известны мне. Твои глаза изобличат мою соперницу. Я узнаю ее, а тогда... тогда, Альфонсо, трепещи и за себя и за нее!

При последних словах ее ярость достигла такого предела, что у нее прервалось дыхание. Она застонала, захрипела и лишилась чувств. Я успел подхватить ее на руки и опустить на диван. Затем, подбежав к двери, позвал на помощь ее прислужниц, поручил ее их заботам и поспешил ретироваться.

Невыразимо взволнованный и смущенный, я направился в сад. Благожелательность, с какой, как казалось мне, баронесса слушала мое признание, исполнила меня надеждой, я вообразил, что она заметила мои чувства к племяннице и одобряет их. Какой ужас я ощутил,

когда понял всю глубину ее заблуждения. И теперь не знал, что делать. Суеверность родителей Агнесы вкупе с злосчастной страстью ее тетки казались непреодолимыми препонами нашему союзу.

Проходя мимо нижней гостиной, окна которой смотрели в сад, я увидел за открытой дверью сидящую у стола Агнесу. Она рисовала, и вокруг лежали незаконченные наброски. Я вошел, все еще не зная, рассказать ли ей о признании баронессы.

– А, это ты! – произнесла Агнеса, подняв головку. – Ты не чужой, и я могу без церемоний продолжать свое занятие. Придвинь стул и садись подле меня.

Я повиновался и сел к столу. Сам того не заметив, занятый мыслями о случившемся, я рассеянно взял отложенные рисунки и посмотрел на них. Один поразил меня своей необычностью. Он изображал залу замка Линденберг. Дверь, ведущая к узкой лестнице, была полуоткрыта. На переднем плане располагалась группа фигур в самых гротескных позах. На каждом лице был запечатлен ужас. Один, возведя глаза к небу, истово молился, другой отползал на четвереньках. Третьи прятали лица под плащом или в коленях своих соседей. Некоторые укрылись под столом, остальные, разинув рты и выпучив глаза, указывали на фигуру, видимо вызвавшую весь этот переполох, – фигуру женщины необычайного роста в одеянии какого-то монашеского ордена. Лицо ее было закрыто, с запястья свисали четки, одежда была вся в пятнах крови, лившейся из раны на груди. В одной руке она держала светильник, в другой – большой нож и словно бы спускалась к железным воротам ада.

– Что тут изображено, Агнеса? – спросил я. – Игра твоего воображения?

Она взглянула на рисунок.

– О нет, – сказала она. – Игра воображения куда более мудрых голов, чем моя. Но неужели ты, прожив в Линденберге целых три месяца, ничего не слышал об Окровавленной Монахине?

– Ты первая упомянула о ней сейчас. Но кто же она?

– На этот вопрос я ответа не знаю. Мне известно только то, что сохранило старинное семейное предание, которое передавалось от отца к сыну и во владениях барона ни у кого не вызывает сомнений. Сам барон тоже в него верит, а тетушка, от природы склонная ко всему таинственному, скорее усомнится в истинности Библии, чем в истинности Окровавленной Монахини. Рассказать тебе это предание?



Я ответил, что она весьма меня этим обяжет. Агнеса, продолжая рисовать, заговорила притворно торжественным тоном:

— Удивительно, что во всех хрониках былых времен сия особа ни разу нигде не упоминается. С великой охотой поведала бы я тебе о ее жизни, но, к несчастью, после ее смерти никто ничего не знал о ее существовании. Засим она почла необходимым устроить некоторый шум в мире и с этим намерением дерзко вторглась в замок Линденберг. Обладая прекрасным вкусом, она выбрала для себя лучшую комнату и, расположившись там, принялась развлекаться, опрокидывая столы и стулья в глухие часы ночи. Быть может, она страдает бессонницей, но точно выяснить, так ли это, мне не удалось. Предание гласит, что забавы эти начались примерно век тому назад. Они сопровождалась визгом, стонами, воплями, проклятиями и многими другими столь же усладительными звуками. Однако своими визитами она удостаивала не только выбранную ею комнату. Порой она отправлялась прогуляться по старым галереям, расхаживала взад и вперед по обширным залам или вдруг останавливалась у дверей спален, рыданиями и стенаниями наводя ужас на тех, кто был внутри. Во время сих ночных промена-

дов ее зрели разные люди, которые единодушно описывали ее именно такой, какой она представлена тут недостойной рукой почтительного ее портретиста.

Необычайность этого рассказа незаметно завладела моим вниманием.

– И она никогда не заговаривала с теми, кто ей встречался? – спросил я.

– Не желала. И к лучшему, если судить по ее манере выражаться, которую она являла еженощно. Иногда стены замка звенели от проклятий и ругательств. Не успеет прочесть «Отче наш», как уже раздражается самыми гнусными богохульствами, а затем запекает «De Profundis»¹⁶, да так чинно, будто еще стоит на хорах. Короче говоря, никакой последовательности. Но молилась ли она или кошунствовала, являлась богохульницей или образцом благочестия, ее слушателей все равно дрожь пробирала до костей. Жизнь в замке превратилась в муку, а его владельца эти ночные буйства так перепугали, что в одно прекрасное утро его нашли в постели мертвым. Такой успех как будто ублажил Монахиню, потому что она принялась шуметь пуще прежнего. Однако новый барон ее перехитрил. В замок он прибыл с прославленным заклинателем бесов, который не утратился запереться на ночь в комнате, где бушевал призрак. По-видимому, он выдержал долгий бой с ней, прежде чем она пообещала угомониться. Она была упряма, но он еще упрямее, и в конце концов она согласилась позволить обитателям замка хорошенько выспаться. После этого некоторое время о ней не было никаких известий. Но через пять лет заклинатель умер, и Монахиня решила снова дать о себе знать. Однако теперь она вела себя куда более пристойно. Расхаживала молча и появлялась не чаще раза в пять лет. Этого правила, если верить барону, она придерживается до сих пор. Он твердо убежден, что каждые пять лет пятого мая, едва часы пробьют час ночи, дверь запертой комнаты отворится. (Заметь, комната эта заперта уже почти столетие!) И в коридор выходит призрак Монахини со светильником и кинжалом. Она сходит по лестнице Восточной башни и шествует через большую залу! На эту ночь привратник оставляет ворота замка открытыми из почтения к духу. Не то чтобы это считалось необходимым – ведь она без труда проскользнет в замочную скважину, если ей так заблагорассудится, – но из учтивости, дабы не вынуждать ее удалиться путем, недостойным ее призрачности.

– И куда она направляется, покинув замок?

– Надеюсь, что на Небеса. Но если так, ей там не слишком нравится, ибо она возвращается через час, удаляется в свою комнату и затихает еще на пять лет.

– И ты этому веришь, Агнеса?

– Какой вопрос! Нет-нет, Альфонсо. У меня слишком много причин оплакивать силу суеверий. Ведь я сама их жертва. Однако баронессе я на это не смею даже намекнуть. Она ничуть не сомневается в правдивости предания. Адама Кунегунда, моя гувернантка, и вовсе уверяет, что пятнадцать лет назад видела духа своими собственными глазами. Однажды вечером она рассказала, какой ужас поразил ее и других домашних, когда за ужином им явилась Окровавленная Монахиня, как называют призрак в замке. Темой этого наброска послужил именно ее рассказ, и можешь быть уверен, Кунегунда тут не блещет отсутствием. Вот она. Никогда не забуду, в какую ярость она впала и какой безобразной выглядела, пока бранила меня за то, что ее портрет так на нее похож!

С этими словами Агнеса указала на комическую фигуру старухи, скорчившейся от страха.

Вопреки моему унынию я не мог не улыбнуться игривости воображения Агнесы. Она нарисовала даму Кунегунду очень похожей, но так преувеличила каждый изъян и сделала каждую черту столь невыразимо смешной, что мне нетрудно было вообразить злость дуэньи.

– Рисунок восхитителен, милая Агнеса! Я и не знал, что ты так хорошо умеешь схватывать смешное.

¹⁶ «Из глубины» (лат.). Начало покаянной молитвы.

– Погоди, – отвечала она, – я покажу тебе лицо еще более смешное, чем лицо дамы Кунегунды. И если ты не против, то можешь распорядиться им, как тебе заблагорассудится.

Она встала и отошла к кабинету в углу, отперла ящик, вынула шкатулочку и, открыв, протянула ее мне.

– Ты находишь сходство? – сказала она с улыбкой.

Это был ее собственный портрет!

В восторге от такого подарка я страстно прижал портрет к своим губам и, бросившись перед ней на колени, излил свою благодарность в самых пылких и страстных словах. Она слушала меня с нежностью, а потом заверила, что разделяет мои чувства. Но вдруг с громким криком вырвала у меня свою руку и выбежала в дверь, выходящую в сад. Пораженный этим внезапным бегством, я поспешно поднялся и в смятении узрел перед собой баронессу, почерневшую от ревности и злобы, захлебнувшуюся яростью. Придя в себя после обморока, она терзала свое воображение, стремясь догадаться, кто ее соперница. Подозрения незамедлительно пали на Агнесу, и она тут же поспешила к племяннице, чтобы обвинить ее в поощрении моих ухаживаний и удостовериться, ошиблась она или нет. К несчастью, она увидела достаточно, чтобы более не искать иных подтверждений. Дверь комнаты она открыла в тот миг, когда Агнеса протянула мне свой портрет, а затем услышала, как я поклялся ее сопернице в вечной любви, увидела меня на коленях перед ней. Она вошла, чтобы встать между нами, но мы были так заняты друг другом, что не услышали ее приближения и поняли, что произошло, только когда Агнеса увидела ее рядом со мной.

Бешенство доньи Родольфы, мое смущение некоторое время мешали нам заговорить. Первой прервала молчание баронесса.

– Мои подозрения были справедливы, – сказала она. – Кокетство моей племянницы восторжествовало, и я принесена в жертву ей! Однако и мне дано торжествовать, ибо не я одна буду мучиться безответной страстью. Вы тоже узнаете, что значит любить без надежды! Я со дня на день ожидаю письмо от родителей Агнесы с просьбой отослать дочь к ним. Немедленно по прибытии в Испанию она будет пострижена, и союз между вами станет невозможным. Не тратьте время на напрасные мольбы, – продолжала она, заметив, что я хотел заговорить. – Мое решение твердо и непоколебимо. Ваша любовница будет сидеть под замком в своей комнате до тех пор, пока не сменит стены этого замка на монастырские. Быть может, одиночество вернет ее на стезю долга. Однако, чтобы вы не воспрепятствовали этому, дон Альфонсо, я вынуждена уведомить вас, что ваше присутствие здесь более нежеланно ни для барона, ни для меня.

Ваши родственники отправили вас в Германию не для того, чтобы вы нашептывали вздор моей племяннице. Вам надлежит путешествовать, и мне было бы жаль стать помехой их превосходным планам. Прощайте, сеньор, и помните, что завтра утром мы встретимся в последний раз.

Умолкнув, она одарила меня взглядом, полным надменности, презрения и злорадства, а затем вышла из комнаты. Я также отправился к себе и провел всю ночь, измышляя способ, как спасти Агнесу от тирании ее тетки.

Остаться в замке Линденберг после столь прямого настояния его госпожи я, разумеется, не мог и на следующее утро сообщил о своем незамедлительном отъезде. Барон изъясил глубокое огорчение и был со мною столь ласков, что я вознамерился заручиться его содействием. Однако едва я упомянул имя Агнесы, как он перебил меня, сказав, что вмешаться не в его власти. Я увидел, что было бы напрасно звать к нему. Баронесса управляла мужем деспотически, и нетрудно было заметить, что она успела восстановить его против нашего брака. Агнеса не вышла к завтраку. Я попросил разрешения проститься с ней, но не получил его и вынужден был уехать, так ее и не увидев.

Желая мне доброго пути, барон сердечно пожал мою руку и заверил меня, что я могу считать его дом своим сразу же, как их племянница отбудет к родителям.

– Прощайте, дон Альфонсо, – сказала баронесса, протягивая мне руку.

Я взял ее и хотел поднести к губам, но она тотчас ее отняла. Барон стоял у окна и не мог нас слышать.

– Берегитесь! – продолжала его супруга. – Моя любовь превратилась в ненависть, моя оскорбленная гордость вопиет о возмездии. Куда бы вы ни направились, мое мщение найдет вас!

Слова эти сопровождались взглядом, вызвавшим у меня холодную дрожь. Ничего не ответив, я поспешил покинуть замок.

Когда мой экипаж выезжал со двора, я кинул взгляд на окна твоей сестры. За ними не было видно никого, и я в тоске откинулся на спинку сиденья. Сопровождали меня только слуга-француз, которого я нанял в Страсбурге на место бедного Стефано, и мой маленький паж, о котором я упоминал. Преданность, бойкость и добрый нрав Теодора уже сделали его дорогим моему сердцу, но теперь он замыслил оказать мне такую услугу, что я готов был счесть его моим благим гением. Не отъехали мы от замка и мили, как он подскакал к дверце экипажа.

– Ободритесь, сеньор, – сказал он на испанском языке, уже научившись говорить на нем свободно и правильно. – Пока вы были с бароном, я улучил минуту, когда дама Кунегунда спустилась в кухню, и забрался в покой над комнатой доньи Агнесы. Там я громко запел хорошо ей знакомую немецкую песенку в надежде, что она узнает мой голос. И не напрасно – так как вскоре услышал, что ее окно отворилось. Тотчас я спустил вниз шнурок, которым запасся, а когда окно затворилось, смотал шнурок и нашел привязанный к его концу вот этот листочек.

Тут он протянул адресованную мне записочку. Я с нетерпением развернул ее и прочел следующие написанные грифелем строки:

Укройся на ближайшие две недели в какой-нибудь окрестной деревне. Тетушка поверит, будто ты покинул Линденберг, и я вновь обрету свободу. В ночь на тридцатое я буду ждать в Западной беседке. Будь там, и мы сможем обсудить, что нам делать дальше. Прощай.

Агнеса

Когда я дочитал эти строки, мой восторг не знал пределов – как и изъявления благодарности, которыми я осыпал Теодора. И поистине его находчивость и наблюдательность заслуживали всяческих похвал. Разумеется, ты понимаешь, что я не открыл ему мою любовь к Агнесе. Но умный мальчуган был настолько проницательным, что проник в мою тайну, и настолько осмотрительным, что скрыл это даже от меня. Он следил за происходящим молча и не предлагал себя в наперсники, ожидая, когда я сам обращусь к нему. Меня равно восхищали его рассудительность, его смывленность, его ловкость и его преданность мне. Не впервые он оказал мне необходимую помощь, и с каждым днем я все больше убеждался в его находчивости и способностях. Во время моего недолгого пребывания в Страсбурге он начал усердно учиться начаткам испанского и, продолжая занятия, уже объяснялся по-испански немногим хуже, чем на своем родном языке. Почти весь свой досуг он посвящал чтению и для своего возраста приобрел порядочные знания. Короче говоря, приятное лицо и ладная фигура сочетались в нем с остротой ума и добрым сердцем. Теперь ему уже пятнадцать лет, он по-прежнему служит у меня, и, когда ты его увидишь, не сомневаюсь, он тебе понравится. Однако извини, я отвлекся. Вернусь к теме.

Я повиновался указаниям Агнесы. Доехав до Мюнхена, оставил там свой экипаж на своего французского слугу Люка, а сам верхом возвратился в окрестности замка Линденберг, свернув в четырех милях от него в деревушку, где и поселился. Хозяину маленькой гостиницы я рассказал заранее придуманную историю, которая должна была помешать ему удивляться, почему я так долго остаюсь под его кровом. К счастью, он был стар, доверчив и нелюбопытен. Поверил всему, что я ему наговорил, и не старался узнать больше того, что я счел нужным ему сказать. Со мной был только Теодор, и мы оба изменили свою внешность, а так как мы держались особняком, никто не заподозрил, что мы не те, за кого себя выдаем. Так прошли две

недели, и за этот срок я имел приятный случай убедиться, что заточение Агнесы кончилось. Однажды она проехала через деревню в сопровождении дамы Кунегунды. Выглядела она здоровой и бодрой и беседовала со своей спутницей спокойно и весело.

– Кто это? – спросил я у хозяина, когда их карета проехала мимо гостиницы.

– Племянница барона Линденберга и ее гувернантка, – ответил он. – Каждую пятницу она навещает обитель Святой Екатерины, где воспитывалась. До нее отсюда около мили.

Ты легко представишь себе, с каким нетерпением ожидал я следующей пятницы. Вновь я увидел мою прекрасную возлюбленную. Когда карета проезжала мимо гостиницы, взор Агнесы упал на меня и покрывший ее ланиты румянец сказал мне, что я узнан вопреки моему маскараду. Я глубоко поклонился, она ответила легким кивком, словно человеку низшего сословия, и более на меня не смотрела.

Наконец настала долгожданная заветная ночь. Она была тихой, по небосводу плыла полная луна. Едва часы пробили одиннадцать, как я поспешил к месту свидания, чтобы быть там загодя. Теодор заранее позаботился о лестнице, и я без помех перебрался через садовую ограду. Паж последовал за мной, а затем поднял лестницу. Я спрятался в Западной беседке, нетерпеливо ожидая Агнесу. Малейший шепот ветерка, легкое падение листа казались мне ее шагами, и я торопился встретить ее. Так я провел полный час, каждая минута которого мнилась мне веком. Но вот колокол в замке пробил двенадцать, и я не поверил, что времени прошло так мало. Миновало еще четверть часа, и я различил легкие шаги моей возлюбленной, осторожно подходившей к беседке. Я поспешил к ней, подвел к дивану, бросился к ее ногам и хотел выразить всю меру восторга, которую доставило мне это свидание, но она прервала меня:

– Нам нельзя терять времени, Альфонсо. Бесценен каждый миг. Ведь если мне и дозволено покидать мою комнату, Кунегунда следит за каждым моим шагом. От моего отца пришла эстафета. Я должна немедленно отправиться в Мадрид и лишь с большим трудом сумела выговорить себе неделю отсрочки. Суеверность моих родителей, всячески поддерживаемая моей жестокой теткой, не позволяет надеяться, что мне удастся воззвать к их жалости. В столь безвыходном положении я решилась довериться твоей чести. Дай бог, чтобы мне никогда не пришлось пожалеть о своем решении! Бегство – единственное мое спасение от ужасов монастыря, и меня извиняет неотвратимая близость опасности. А теперь выслушай план, который я придумала. Сейчас наступило тридцатое апреля. Через пять дней должна явиться призрачная Монахиня. Прошлый раз посетив обитель, я увезла оттуда одеяние, такое же, какое на ней. Его дала мне подруга детских лет, которая еще живет там. Я не побоялась ей довериться, и она охотно согласилась снабдить меня монастырским платьем. Жди меня с каретой неподалеку от главных ворот замка. Как только колокол возвестит час ночи, я выйду из моей комнаты в личине призрака, каким его описывает предание. Те, кого я повстречаю, впадут в ужас и не посмеют меня остановить. Я без помех выйду за ворота и отдамся под твою защиту. Это все вне сомнений. Но, ах, Альфонсо, что, если ты меня обманываешь? Если ты презираешь мою неосторожную доверчивость и отплатишь за нее неблагодарностью, в мире не найдется создания несчастнее меня! Я понимаю все опасности, которым подвергаюсь. Я понимаю, что даю тебе право обойтись со мной пренебрежительно. Но я полагаюсь на твою любовь, твою честь! Шаг, который я намерена сделать, восстановит против меня всех моих близких. Если ты покинешь меня, если предашь взятое на себя обязательство, у меня не будет друга покарать тебя за оскорбление или заступиться за меня. На тебе одном сосредоточены все мои упования, и если твое сердце не молит за меня, то я погибла навеки!

Она произнесла все это таким трогательным голосом, что к радости, охватившей меня, когда Агнеса обещала бежать со мной, добавилось умиление. И я горько упрекнул себя, что не догадался держать в деревне карету, ведь тогда бы я мог умчать Агнесу сейчас же. Но теперь об этом не стоило и думать: ни карету, ни лошадей негде было достать ближе Мюнхена, а до него от Линденберга было два дня пути. Поэтому мне пришлось согласиться на ее план, который в

самом деле казался превосходным. Ее костюм позволит ей без помехи пройти через замок и спокойно, не теряя времени, сесть в карету у самых его ворот.

Агнеса печально склонила головку мне на плечо, и в лучах луны я увидел, что по ее ланитам струятся слезы. Я постарался рассеять ее грусть, напомнил об ожидающем впереди счастье и торжественно заверил, что ее добродетели и невинности под моей защитой ничто не угрожает, что до тех пор, пока она в церкви не станет моей законной женой, честь ее для меня останется столь же священной, как честь сестры. Я сказал ей, что первой моей заботой будет отыскать тебя, Лоренцо, и заручиться твоим согласием на наш союз. Я еще говорил, как вдруг меня испугал шум, донесшийся снаружи. Дверь беседки распахнулась. На пороге перед нами стояла Кунегунда! Она услышала, как Агнеса вышла из комнаты, прокралась за ней в сад и увидела, как она вошла в беседку. Под покровом окружавших беседку деревьев, не замеченная Теодором, который ждал в некотором отдалении, она бесшумно подошла поближе и подслушала весь наш разговор.

– Восхитительно! – визгливо закричала Кунегунда, и Агнеса горестно ахнула. – Клянусь святой Варварой, благородная девица, вы редкостная выдумщица. Так вы изобразите Окровавленную Монахиню? Какое кощунство! Какое неверие! Право, я готова позволить вам привести ваш план в исполнение. Когда истинное привидение повстречает вас, в хорошеньком же вы будете виде! А вам, дон Альфонсо, должно быть стыдно, что вы соблазнили юное невинное создание покинуть семью и друзей. Однако хотя бы на этот раз я помешаю вашим злодейским замыслам. Ее милость баронесса узнает все, и Агнесе придется подождать с подражанием призракам до следующего раза. Прощайте, сеньор! Донья Агнеса, окажите мне честь, разрешив сопровождать ваш призрачный корабль назад в вашу спальню!

Она подошла к дивану, на котором сидела ее трепещущая ученица, схватила за руку и приготовилась увести из беседки.

Я остановил ее и попытался мольбами, заверениями, обещаниями и лестью привлечь на свою сторону. Но, убедившись, что говорю напрасно, оставил тщетную попытку.

– Ваше упрямство станет вашим наказанием, – сказал я. – Есть лишь одно средство спасти нас с Агнесой, и я к нему прибегну без колебаний.

Испугавшись этой угрозы, она опять хотела выйти из беседки, но я схватил ее за руку и удержал насильственно. В тот же миг Теодор, который вошел в беседку следом за ней, закрыл дверь, чтобы помешать ей убежать. Я взял покрывало Агнесы и набросил его на голову дуэньи, которая испускала такие отчаянные вопли, что я испугался, как бы ее не услышали в замке, хотя мы находились от него на значительном расстоянии. Наконец мне удалось замотать ей рот. Затем Теодор и я, как она ни отбивалась, сумели связать ей руки и ноги нашими платками, и я попросил Агнесу поскорее вернуться в свою комнату. Я обещал, что Кунегунда останется целой и невредимой, заверил ее, что пятого мая буду ждать с каретой у главных ворот замка, и с нежностью простился с ней. Трепеща от страха, она еле нашла в себе силы согласиться на мой план и в смятении поспешила назад в замок.

Теодор помог мне унести мою престарелую добычу. Мы перетащили ее через ограду, положили передо мной на лошадь, как саквояж, и я усакал с ней прочь от замка Линденберг. Никогда еще злополучная дуэнья не совершала столь неприятных путешествий. Ее встряхивало и подбрасывало так, что вскоре она превратилась в подобие одушевленной мумии. А уж что говорить об испуге, который она испытала, когда мы перебирались вброд через речку перед деревней! В пути я уже придумал, как разделаться с несносной Кунегундой. Я остановился в некотором отдалении от гостиницы, а мой паж постучал в дверь. Ее открыл хозяин с фонарем в руке.



– Дайте-ка мне фонарь, – сказал Теодор. – Сейчас подъедет мой господин.

Он схватил фонарь и нарочно уронил на землю. Хозяин направился на кухню, чтобы снова его зажечь, а дверь оставил открытой. Под покровом темноты я, держа Кунегунду в объятиях, спрыгнул с лошади, взбежал по лестнице, никем не замеченный проскользнул к себе в комнату, отпер дверцу чулана, водворил ее туда и повернул ключ в замке. Вскоре явились хозяин и Теодор со свечами. Первый изъясил некоторое удивление, что я так припозднился, но никаких неловких вопросов задавать не стал. Вскоре он удалился, оставив меня радоваться успеху моего предприятия.

Я тотчас навел на мою пленницу и попытался убедить ее с терпением снести временно свое заключение. В попытке этой я не преуспел. Ни говорить, ни двигаться она не могла, но глаза ее горели яростью, и я вынужден был оставить ее связанной и вынимал кляп у нее изо рта, только чтобы она могла поесть. В эти минуты я стоял над ней со шпагой, предупредив,

что вонжу лезвие ей в грудь, если она осмелится закричать. Едва она проглатывала последний кусок, как кляп водворялся на место. Я понимал, что поступаю жестоко и могу искать оправдания только в крайней необходимости. Что до Теодора, никаких угрызений он не испытывал, и положение Кунегунды до чрезвычайности его забавляло. Живя в замке, он вел с ней постоянную войну, а теперь его заклятый враг оказался у него во власти. Он беспощадно торжествовал и, казалось, занимался только тем, что измышлял новые способы допекать ее. Порой он делал вид, будто сочувствует ее бедственному положению, а потом смеялся и передразнивал ее, придумывал всяческие шуточки, одна обиднее другой, и развлекался, живописуя ей, какое удивление в замке вызвало ее тайное бегство. Тут он недалеко уклонился от истины. Кроме Агнесы, все только диву давались, что могло случиться с дамой Кунегундой. Обыскивали все глухие углы и подвалы, обшарили пруды, исходили лес вдоль и поперек, но от дамы Кунегунды не было ни слуху ни духу. Агнеса не выдала тайны, а я не выдал дуэнью. Поэтому баронесса оставалась в полном неведении о судьбе старухи, но предполагала, что та наложила на себя руки. Так прошли пять дней, в течение которых я приготовил все необходимое для успеха задуманного. На следующее же утро я отправил крестьянина с письмом к Люка, в котором отдал ему распоряжение позаботиться, чтобы в десять часов вечера в деревню Розенвальд прибыла карета, заложённая четверней. Он выполнил все в точности, и экипаж остановился у гостиницы ровно в десять. По мере того как приближался назначенный срок, Кунегунда приходила во все большую ярость. Полагаю, злость и бешенство убили бы ее, если бы я, к счастью, не узнал о ее пристрастии к вишневой наливке. С этой минуты она не знала недостатка в любимом напитке, а так как Теодор от нее не отходил, то кляп можно было вынимать чаще. Наливка волшебным образом подслащивала кислоту ее натуры, а так как иных развлечений у нее не было, то она каждый день напивалась, просто чтобы скоротать время. Настало пятое мая, день, который я никогда не забуду! Еще до того, как пробило двенадцать, я отправился в условленное место. Теодор сопровождал меня верхом. Карету я скрыл в пещере под склоном холма, на котором стоял замок. Пещера эта была очень обширной и глубокой, крестьяне между собой называли ее Линденбергской дырой. Ночь выдалась тихая и красивая. Лунный свет лился на древние башни замка, одевая их вершины серебром. Вокруг меня царил безмолвие, только ночной зефир шелестел листьями, и далеко в деревне лаяли собаки, да иногда ухала сова, поселившаяся под сводами покинутой Восточной башни. Услышав ее тоскливый крик, я поглядел вверх. Она сидела над окном комнаты, где являлся призрак. Это напомнило мне об Окровавленной Монахине, и я вздохнул, подумав о силе суеверий и слабости человеческого разума. Внезапно тишину ночи нарушили дальние голоса.

– Что означают эти голоса, Теодор? – спросил я.

– Нынче через деревню, – отвечал он, – проехал важный господин, направлявшийся в замок. Говорят, это отец доньи Агнесы. Полагаю, барон устроил праздник в честь его приезда.

Колокол в замке отбил полночь – час, когда семья удалялась на покой. Вскоре в окнах туда и сюда замелькали огоньки, из чего я заключил, что общество расходится по своим спальням. Мне был слышен скрип тяжелых дверей, отворявшихся с трудом, а когда их захлопывали, постукивали подгнившие рамы. Спальня Агнесы находилась в другом крыле замка. Меня томил страх, сумела ли она раздобыть ключ от комнаты призрака – ей необходимо было пройти через нее, чтобы добраться до узкой лестницы, по которой, согласно преданию, дух спускался в большую залу. Вне себя от волнения я не отводил взгляда от окна роковой комнаты в надежде увидеть дружественное сияние светильника в руке Агнесы. Тут я услышал лязг отодвигаемых засовов, и массивные створки главных ворот распахнулись. Их открыл человек со свечой в руке, и я узнал старого привратника Конрада, который сейчас же удалился. Огоньки в окнах мало-помалу гасли, и вскоре замок окутала темнота.

Я сидел на уступе у гребня холма. Мрак и тишина навевали меланхолические мысли, в которых было нечто приятное. Замок прямо передо мной был грозен и живописен. Его могучие

стены в отблесках лунного света, его древние полуразрушенные башни, устремленные к тучам и надменно хмурящиеся на окрестные равнины, плющ, льнувший к серым камням, и створки ворот, раскрытые в честь воображаемой его обитательницы, – все это преисполнило меня печалью и благоговейным ужасом. Однако даже такие мысли не препятствовали мне нетерпеливо следить за ходом времени. Я приблизился к замку и решился обойти его снаружи. В комнате Агнесы виднелось смутное сияние, очень меня обрадовавшее. Пока я смотрел на него, к окну приблизилась фигура и плотно задернула занавеску, загораживая лучи горящего светильника. Зрелище это убедило меня, что Агнеса не отказалась от нашего плана, и я с легким сердцем вернулся на уступ.

Пробило полчаса! Пробило три четверти часа! Сердце мое билось от ожидания и надежд. Наконец раздался желанный звук. Колокол отбил час, и гулкий звон пронесся по безмолвному замку. Я смотрел теперь на окно комнаты призрака. Не прошло и пяти минут, как там появился желанный свет. Я подошел к башне. Окно находилось не слишком высоко над землей, и мне почудилось, что я вижу женскую фигуру, которая со светильником в руке идет через комнату. Затем сияние угасло и все вновь погрузилось в угрюмую тьму.

Теперь сияние возникало и исчезало в амбразурах, за которыми спускался по ступенькам прелестный призрак. Я проследил движение сияния по зале, оно достигло портала, и наконец я увидел, как Агнеса вышла из открытых ворот. Она была одета в точности так, как призрак на ее наброске. С запястья у нее свисали четки, голову окутывало белое покрывало. Монашеское одеяние покрывали кровавые пятна, и она позаботилась взять не только светильник, но и кинжал. Она направилась в мою сторону, я бросился к ней навстречу и заключил в объятия.



— Агнеса! — произнес я, прижимая ее к груди. —

О Агнеса, ты – моя,
Стал твоим отныне я.
И пока я жив, я твой!
Ты моя!
Ты и я,
Твой я телом и душой!

Вне себя от страха, она не могла вымолвить ни слова и, уронив светильник и кинжал, молча, почти бездыханная упала мне на грудь. Я подхватил ее и отнес в карету. Теодор должен был вернуться в гостиницу, чтобы освободить даму Кунегунду. Еще я оставил ему письмо для баронессы, в котором объяснял произошедшее и умолял ее испросить согласие дона Гастона на мой брак с его дочерью. Я открыл ей мое истинное имя, я доказал ей, что мое происхождение и мое будущее дают мне право просить руки ее племянницы, я заверил ее, что приложу все усилия заслужить ее уважение и дружбу, пусть и не в моей власти ответить на ее любовь.

Я сел в карету, куда уже усадил Агнесу. Теодор захлопнул дверцу, и кучер стегнул лошадей. Вначале меня радовала быстрота, с какой мы ехали, но, едва опасность погони осталась позади, я приказал кучеру придержать лошадей. Он и фореиторы попытались исполнить мое приказание, но тщетно. Лошади не слушались вожжей и продолжали нестись с необыкновенной быстротой. Кучер и фореиторы удвоили усилия, но лошади рвались, брыкались, и вскоре те, не удержавшись, с громкими воплями слетели наземь. Тотчас небо затянули черные тучи, завыл ветер, заблестали молнии, загрохотал гром. Никогда мне еще не доводилось видеть столь ужасной грозы. Напуганные ревом разбушевавшихся стихий, лошади мчались все быстрее и быстрее. Они волокли карету через изгороди и канавы, устремлялись вниз по самым крутым косогорам и словно стремились обогнать ветер.

Все это время моя спутница лежала неподвижно в моих объятиях. Понимая всю меру грозящей нам опасности, я пытался привести ее в чувство, но напрасно, и тут оглушительный треск возвестил, что нашей бешеной езде был положен самый неприятный конец. Карета разбилась вдребезги. Упав на землю, я ударился виском об острый камень. Боль от раны, страшное потрясение, ужасная мысль о том, что могло случиться с Агнесой, заставили меня лишиться сознания, и я лежал распростертый, как бездыханный труп.

Видимо, пролежал я так очень долго, потому что открыл глаза в ярком свете дня. Меня окружали крестьяне и спорили, останусь ли я жив. По-немецки я изъясняюсь сносно и, обретя дар речи, тотчас осведомился об Агнесе. Каковы же были мои удивление и горе, когда крестьяне заверили меня, что не видели никого похожего на ту, кого я описал. По их словам, направляясь в поле, они встревожились, увидев обломки кареты и услышав хрипение лошади, единственной из четырех, не погибшей сразу. Остальные три лежали мертвые рядом со мной. Когда они подошли, я был совсем один, и миновало много времени, прежде чем им удалось привести меня в чувство. Полный невыразимого страха, я умолял крестьян разойтись в разные стороны и поискать ее, описал, как она была одета, и обещал щедрую награду тому, кто принесет мне известие о ней. Сам я не мог присоединиться к поискам: у меня были сломаны два ребра, вывихнуто плечо так, что рука свисала бессильной плетью, а левая нога казалась раздробленной, и я опасался, как бы мне не остаться калекой навсегда.



Крестьяне сдались на мои просьбы и отправились искать Агнесу – все, кроме четверых, а те соорудили носилки из жердей, чтобы отнести меня в ближайшее селение. Я осведомился о названии городка и, услышав в ответ «Ратисбон», не поверил своим ушам – слишком велико было расстояние, которое я одолел всего за ночь. На мои слова, что в час ночи я проехал деревню Розенвальд, крестьяне грустно покачали головами, знаками показывая друг другу, что я брежу.

Меня отнесли в пристойную гостиницу и немедленно уложили в постель. Послали за лекарем, и он успешно вправил мне плечо. Затем он осмотрел остальные мои повреждения и сказал, что я могу не опасаться неизлечимых последствий, но мне необходим покой и я должен быть готов к длительному и болезненному лечению. Если он хочет, чтобы мой покой ничем не нарушался, ответил я, то пусть сначала узнает что-нибудь о моей спутнице, которая накануне ночью уехала со мной из Розенвальда и была в карете в тот миг, когда она опрокинулась. Лекарь улыбнулся, но только посоветовал мне не тревожиться: за мной будет самый отличный уход. Когда он простился со мной, в дверях его встретила хозяйка, и я расслышал, как он сказал ей тихо:

– Господин не совсем в здравом уме. Естественное следствие таких ушибов и скоро пройдет бесследно.

Один за другим в гостиницу являлись крестьяне и сообщали, что о моей злополучной возлюбленной ничего узнать не удалось. Я в самых горячих выражениях умолял их продолжить поиски, удвоив уже обещанную награду. Сильное мое возбуждение и отчаяние окончательно убедили всех, что я брежу. Нигде не обнаружив следов моей спутницы, они решили, что она – плод моего разгоряченного мозга, и перестали обращать внимание на мои просьбы. Тем не менее хозяйка заверила меня, что поиски будут продолжаться, однако, как я узнал позднее, сказала она это только для того, чтобы я успокоился.

Хотя багаж мой оставался в Мюнхене под охраной французского слуги, кошелек у меня был набит туго – я ведь приготовился к длинному путешествию. К тому же моя разбитая карета показывала, что я не простой человек, а потому в гостинице меня окружали всяческими заботами. Подошел вечер, об Агнесе по-прежнему не было никаких известий. Тревога и страх теперь уступили место унынию. Я перестал предаваться бурному отчаянию и погрузился в глубокую меланхолию. Увидев, что я затих и молчу, те, кто ухаживал за мной, решили, что бред прошел и болезнь принимает благоприятный оборот. По предписанию лекаря я проглотил микстуру, и, как стемнело, меня оставили одного предаться сну.

Но сон я призывал тщетно. Волнение в моей груди гнало его прочь. Мой расстроенный дух взял верх над телесным утомлением, и я ворочался с боку на бок, пока куранты на соседней колокольне не отбили час ночи. Пока я слушал, как тоскливый глухой звук уносится ветром, по моему телу вдруг разлился холод, и я задрожал, не зная почему. По лбу у меня заструилась ледяная испарина, волосы встали дыбом от страха. Внезапно я услышал поднимающиеся по лестнице медленные тяжелые шаги. Невольно приподнявшись на кровати, я отдернул полог. Тростниковый светильник, мерцавший на каминной полке, слабо освещал увешанные гобеленами стены. Дверь с силой распахнулась. Через порог переступила некая фигура и размеренной походкой направилась к моей кровати. Трепеща от страха, я вглядывался в полуночную гостью. Великий Боже! Это была Окровавленная Монахиня! Это была моя исчезнувшая спутница! Покрывало все так же прятало ее лицо, но ни светильника, ни кинжала у нее в руках не было. Медленно она откинула покрывало. Какое зрелище предстало моим пораженным глазам! Я увидел перед собой живой труп. Лицо у нее было обострившимся и изможденным, щеки и губы – бескровными, бледность смерти одевала ее черты, а устремленные на меня глаза были тусклыми и глубоко запавшими.

Я смотрел на привидение с ужасом, не поддающимся описанию. Кровь застыла в моих жилах. Я тщился позвать на помощь, но звуки умирали у меня на устах. Мои нервы сковало бессилие, и я окостенел в своей позе, точно статуя.

Призрачная Монахиня несколько мгновений смотрела на меня в безмолвии. Во взгляде ее было что-то мертвящее. Наконец тихим загробным голосом она произнесла следующее:

Раймонд! Раймонд! Я твоя,
И тобой владею я.
О, пока ты жив, ты мой.
Я твоя.
Ты и я,
Мой ты телом и душой.

Почти бездыханный от ужаса, слушал я, как она повторяет мои же собственные слова. Призрачная Монахиня села напротив меня в изножье кровати и смолкла. Ее глаза пристально смотрели в мои и, казалось, были наделены свойством глаз гремучей змеи, потому что я

напрасно пытался отвести взгляд. Мои глаза были заморожены, и я не мог оторвать свой взгляд от призрака.

В этой позе она оставалась долгий час, молча, без движения. И я не мог ни заговорить, ни пошевелиться. Наконец куранты пробили два. Призрачная Монахиня поднялась и подошла ко мне. Ее ледяные пальцы сжали мою руку, бессильно лежавшую поверх одеяла, и, прижав холодные губы к моим, она повторила:

Раймонд! Раймонд! Я твоя!
И тобой владею я (и прочее).

Затем она отпустила мою руку, медленным шагом вышла из комнаты, и дверь за ней затворилась. До этого мгновения мое тело словно помертвело. Бодрствовал лишь разум. Но теперь чары рассеялись. Кровь, застывшая в жилах, разом прихлынула к сердцу, я громко застонал и замертво упал на постель.

Соседняя комната отделялась от моей лишь тонкой перегородкой, ее занимали хозяин и хозяйка. Первого разбудил мой стон, и он тотчас поспешил ко мне. Хозяйка вскоре последовала за ним. С некоторым трудом они привели меня в чувство и поспешили послать за лекарем, который не замедлил явиться. Он объявил, что моя лихорадка очень усилилась и, если я буду пребывать в подобном возбуждении, он не ручается за мою жизнь. Он напоил меня микстурой, которая немного меня успокоила. Перед рассветом я погрузился в подобие дремоты, но ужасные сны помешали ей пойти мне на пользу. Видения Агнесы и Окровавленной Монахини попеременно представляли передо мной, пугая меня и мучая. Я пробудился усталый и не освеженный сном. Лихорадка моя, казалось, усилилась, душевное волнение мешало срастаться моим костям, один обморок сменялся другим, и в течение дня лекарь остерегался оставлять меня более чем на два часа подряд.

Необычайность случившегося вынуждала меня хранить молчание – вряд ли кто-нибудь отнесся бы к моим словам с доверием. Меня снедала тревога. Я не знал, что могла подумать Агнеса, не найдя меня на условленном месте, и опасался, как бы она не усомнилась в моей верности. Однако я полагался на ловкость Теодора и уповал, что мое письмо убедит баронессу в честности моих намерений. Эти соображения несколько умили мои опасения за Агнесу, но впечатление, оставленное ночной посетительницей, усугублялось с каждой минутой. Приближалась ночь, и я все больше страшился ее наступления, хотя и тщился убедить себя, что призрак более не появится. Но, так или иначе, я пожелал, чтобы слуга остался у меня в комнате до утра.

Телесное утомление оттого, что прошлую ночь я не сомкнул глаз, вкупе со снотворными снадобьями, которыми меня пичкали, наконец принесли мне отдых, в котором я столь нуждался, и я погрузился в крепкий спокойный сон, продлившийся несколько часов, пока меня не пробудили куранты, пробив один раз. Звук этот напомнил мне о всех ужасах предыдущей ночи. Вновь по моему телу разлился тот же холод. Я сел на постели и увидел, что слуга крепко спит в кресле около меня. Я окликнул его по имени, он не ответил. Я сильно потряс его за плечо, но не сумел разбудить. Мои усилия не возымели ни малейшего действия. Тут я услышал тяжелые шаги на лестнице, дверь распахнулась, и вновь передо мной предстала Окровавленная Монахиня. Вновь мои члены были словно запеленуты в свивальник, вновь раздались роковые слова:

Раймонд, Раймонд, я твоя!
И тобой владею я (и прочее).

Опять повторилось то, что накануне так меня парализовало. Вновь призрачная Монахиня прижала губы к моим, вновь прикоснулась ко мне истлевшими пальцами и, как в первый раз, удалилась, едва пробило два.

Это повторялось каждую ночь. Но я не только не свыкся с призраком, но при каждом новом его появлении испытывал все больший ужас. Мысли о нем не оставляли меня ни на минуту, и я впал в непреходящую меланхолию. Непрестанные борения духа, разумеется, замедляли мое выздоровление. Прошло несколько месяцев, прежде чем я встал с постели, а когда наконец мне было разрешено проводить день на диване, я был таким слабым, вялым и исхудалым, что не мог без посторонней помощи даже пройти через комнату. Непреходящая моя меланхолия внушила лекарю мысль, что я ипохондрик. Истинную причину моего состояния я хранил в тайне, понимая, что помочь мне не может никто: ведь призрак был скрыт ото всех глаз, кроме моих. Я постоянно оставлял при себе на ночь слуг, но едва куранты отбивали один час, как их сковывал непробудный сон, и просыпались они лишь после того, как призрак удалялся.

Возможно, тебя удивляет, что я не расспрашивал о твоей сестре. Дело в том, что Теодор, который с трудом отыскал меня, утишил мою тревогу. Но из его слов мне стало ясно, что попытки спасти ее останутся безуспешными, пока я достаточно не окрепну, чтобы возвратиться в Испанию. Подробности того, что с ней произошло и о чем я сейчас расскажу тебе, мне удалось узнать отчасти от Теодора, отчасти позднее от самой Агнесы.

В роковую ночь, назначенную для бегства, непредвиденная случайность не позволила ей выйти из спальни в условленный час. Но наконец она решилась войти в комнату призрака, спустилась по лестнице в залу, увидела, что ворота открыты, как она ожидала, и не замеченная никем покинула замок. Каково же было ее удивление, когда я не кинулся к ней навстречу! Она осмотрела пещеру, обошла все дороги в ближайшем лесу, отдав целых два часа этим бесплодным поискам. Никаких следов ни меня, ни кареты она не нашла и, вне себя от тревоги и отчаяния, решила вернуться в замок, пока баронесса ее нехватила. Но тут она оказалась в новом затруднении. Ведь колокол уже пробил два. Час власти призрака миновал, и добросовестный привратник запер ворота. Помедлив в нерешительности, она осмелилась тихонько постучать. К счастью, Конрад еще не уснул и, услышав стук, поднялся, ворча, что его снова поднимают с постели. Открыв калитку и увидев, что в нее, видимо, хочет войти призрак Монахини, он завопил и рухнул на колени. Агнеса не преминула воспользоваться его ужасом, проскользнула мимо, поспешно поднялась к себе, сбросила монашеское одеяние и легла в постель, тщетно ища объяснение моему отсутствию.

Тем временем Теодор, увидев, как я уехал в карете с лже-Агнесой, радостно вернулся в деревню. Утром он освободил Кунегунду из ее заточения и отправился с ней в замок. Когда они пришли туда, барон, его супруга и дон Гастон с недоумением обсуждали то, что узнали от привратника. Все они верили в привидения, однако дон Гастон утверждал, что для призрака постучать, чтобы его впустили, дело неслыханное и никак не сочетается с его нематериальной природой. В эту минуту и явился Теодор с Кунегундой. Тайна тотчас разъяснилась. Выслушав его, все они согласились, что Агнесой, которая, по словам Теодора, села в мою карету, несомненно, была Окровавленная Монахиня, перепугала же привратника дочь дона Гастона.

Когда первая минута удивления миновала, баронесса решила воспользоваться случившимся, чтобы убедить племянницу принять постриг. Опасаясь, как бы возможность блестящей партии не заставила дона Гастона переменить намерения, она скрыла мое письмо и продолжала аттестовать меня как никому не известного нищего проходимца. Детское тщеславие понудило меня скрыть мое имя даже от моей возлюбленной. Я хотел, чтобы меня любили за меня самого, а не потому, что я сын и наследник маркиза де лас Систернаса. Таким образом мое истинное имя было в замке известно только баронессе, а она приняла необходимые меры, чтобы скрыть его ото всех. Дон Гастон одобрил намерение сестры, и они призвали Агнесу. Ее обвинили в

том, что она замышляла бегство, и заставили признаться во всем, однако, к ее удивлению, с большой мягкостью. Но каковы же были ее страдания, когда ей объяснили, что план не удался по моей вине! Подученная баронессой, Кунегунда заявила, будто, отпуская ее, я поручил ей сказать своей госпоже, что между нами все кончено, что все произошедшее было следствием заблуждения и что мои обстоятельства не допускают брака с бесприданницей.

Внезапное мое исчезновение придало этому вымыслу большую правдоподобность. Теодора, который мог бы опровергнуть ложь, по приказанию баронессы держали взаперти. В довершение всего, как будто в подтверждение моего самозванства, пришло письмо от тебя, в котором ты объявлял, что Альфонсо д'Альварада тебе неизвестен. Такие убедительные доказательства моего коварства, подкрепленные искусной клеветой тетки, выдумками Кунегунды, а также угрозами и гневом отца, взяли верх над отвращением Агнесы к монастырской жизни. Негодуя на мое поведение, исполняясь омерзения к миру, она согласилась принять постриг. В замке Линденберг Агнеса провела еще месяц, но от меня не приходило никаких вестей, и она окончательно утвердилась в своем намерении, а затем уехала в Испанию. Тогда Теодора отпустили. Он поспешил в Мюнхен, куда я обещал написать ему, но, узнав от Люка, что я туда не заезжал, он принялся меня усердно разыскивать и наконец нашел в Ратисбоне.

Я так переменялся, что он с трудом меня узнал, и огорчение на его лице ясно показало, как горячо он ко мне привязался. Общество этого милого отрока, в котором я всегда видел более товарища, нежели слугу, стало теперь единственным моим утешением. Беседа его была веселой и разумной, а наблюдения проницательными и забавными. Он был много осведомленнее, чем обычно в его лета, но особенно пленял меня в нем чудесный голос, а к тому же он немного разбирался в музыке. Был у него вкус и к поэзии – он даже осмеливался сочинять коротенькие баллады по-испански; впрочем, должен признаться, довольно дурно. Тем не менее они забавляли меня новизной, и слушать, как он поет их, аккомпанируя на гитаре, было единственным развлечением, которое я себе позволял. Теодор не преминул заметить, что меня что-то сильно гнетет, но я не открыл причину даже ему, а почтение не позволяло ему расспрашивать меня.

Однажды вечером я лежал на своем диване, погруженный в размышления, далеко не самые приятные. Теодор развлекался тем, что следил в окно за дракой двух кучеров, решавших какой-то спор во дворе гостиницы.

– Ха-ха! – внезапно воскликнул он. – А вот и Великий Могол¹⁷!

– Кто-кто? – спросил я.

– Один человек, который наговорил мне в Мюнхене всякой всячины.

– О чем же?

– Ваш вопрос, сеньор, напомнил мне, что он поручил повторить свои слова вам, но они, право, этого не стоят. Думается, он просто сумасшедший. Когда я приехал в Мюнхен, ища вас, он проживал в «Римском императоре», и хозяин рассказал мне о нем много странного. Судя по его манере речи, он чужестранец, но из каких краев, никто не знает. В городе он как будто ни с кем не знаком, говорит очень редко и не улыбается никогда. С ним не было ни слуги, ни багажа, однако кошелек у него как будто набит туго, и он сделал в городе много добра. Одни считают его арабским астрологом, другие ярмарочным шарлатаном, а многие так заявляют, что это не кто иной, как доктор Фауст, которого дьявол отослал назад в Германию. Однако хозяин сказал мне под секретом, что, по верным сведениям, это сам Великий Могол, путешествующий инкогнито.

– Но «всякая всячина», Теодор?

¹⁷ Империей Великих Моголов европейцы называли государство, существовавшее до середины XVIII века на территории современной Индии, Пакистана и Бангладеш. Здесь имеется в виду сам император.

– А, да, я уже почти позабыл. Но и забудь я вовсе, потеря была бы невелика. Видите ли, сеньор, он проходил мимо, когда я спрашивал про вас у хозяина, остановился и внимательно на меня посмотрел. «Отрок! – произнес он торжественно. – Тот, кого ты ищешь, нашел то, чего был бы рад лишиться. Только моя рука может осушить кровь. Предупреди своего господина, чтобы он подумал обо мне, когда куранты пробьют час!»

– Как! – вскричал я, приподнимаясь. Слова, повторенные Теодором, казалось, намекали, что странный незнакомец знает мою тайну! – Беги за ним, мальчик. Умоляй его уделить мне одну минуту для беседы!

Мое волнение удивило Теодора, однако он поспешил исполнить мое приказание, не задавая вопросов. Я с нетерпением ожидал его возвращения. Но уже очень скоро он привел в мою комнату желанного гостя. Это оказался человек величавой наружности с суровыми чертами лица и большими черными сверкающими глазами. Едва я его увидел, как что-то в нем вызвало у меня тайный трепет, если не сказать ужас. Костюм его был прост, волосы не напудрены, а черная бархатная лента, обвивавшая лоб, придавала ему мрачность. Лицо его носило следы глубокой меланхолии, походка была медлительной, манеры серьезными, величественными и торжественными.

Он учтиво мне поклонился и, обменявшись со мной обычными приветствиями, сделал знак Теодору удалиться, и паж тотчас повиновался.

– Я знаю, что вас гнетет, – сказал он, не давая мне заговорить, – и у меня есть власть избавить вас от ночной гостии. Но до воскресенья сделать этого нельзя. В час наступления дня Господня духи тьмы теряют власть над смертными. После субботы Монахиня перестанет вас навещать.

– Можно ли мне осведомиться, – спросил я, – каким образом вы проникли в тайну, которую я тщательно хранил ото всех?

– Как могу я не знать о вашей печали, когда ее причина стоит возле вас?

Я вздрогнул, а незнакомец продолжал:

– Хотя вы зрите ее лишь один час в сутки, она с вами и днем и ночью, ни на миг не покидая. И не покинет, пока вы не исполните ее просьбу.

– Какую же?

– Это должна объяснить она сама. Мне же сие не открыто. С терпением дождитесь субботней ночи. И тогда все станет ясно.

Я не осмелился расспрашивать его дальше, а он переменял тему и заговорил о самых разных предметах, упоминал людей, умерших века и века тому назад, но так, словно знал их живыми. Какую бы страну я ни назвал, оказывалось, что он ее посетил, а обширность и разнообразие его познаний глубоко меня восхитили. Я высказал мнение, что, столько путешествуя, столько видя и узнавая, он, конечно, получал великое наслаждение. Но он скорбно покачал головой.

– Никому, – отвечал он, – не постичь горести моего существования! Судьба обрекла меня на вечные скитания. Мне не дозволено оставаться на одном месте более двух недель. У меня нет ни единого друга в мире, и в моих скитаниях я не могу им обзавестись. С какой радостью я лишился бы своей горестной жизни, ибо завидую тем, кто обрел покой могилы. Но Смерть бежит от меня, ускользает от моих объятий. Тщетно устремляюсь я навстречу опасностям. Бросаюсь в океан – и волны с отвращением выносят меня на берег; устремляюсь в огонь – и пламя отклоняется от меня. Подставляю себя ножам разбойников, их лезвия затупляются и ломаются о мою грудь. Голодный тигр содрогается при виде меня, а крокодил убегает от чудовища, более ужасного, чем он сам. Бог наложил на меня печать свою, и все его создания чтут роковой знак!

Он прикоснулся к черному бархату, закрывавшему его лоб. В глазах у него появилось такое выражение ярости, отчаяния и злобы, что я побледнел от ужаса. По телу у меня пробежала невольная дрожь, и незнакомец заметил это.

– Таково наложенное на меня проклятие, – продолжал он. – Я обречен внушать всем на меня смотрящим страх и отвращение. Вы уже ощущаете его влияние, и с каждой минутой ощущение это будет усиливаться. Не стану усугублять ваши страдания своим присутствием. Прощайте до субботы. Как только пробьет полночь, ждите меня здесь.

С этими словами он удалился, оставив меня дивиться таинственному изменению в его манере держаться и говорить.

Его заверения, что скоро я избавлюсь от посещений призрака, оказали на меня самое благотворное влияние. Теодор, с которым я обращался более как с приемным сыном, чем как со слугой, вернувшись в комнату, выразил удивление, такую он заметил во мне перемену к лучшему. Он поздравил меня с возвращением ко мне здоровья и изъясил восторг, что моя беседа с Великим Моголом принесла мне подобную пользу.

Наведя справки, я узнал, что незнакомец уже провел в Ратисбоне восемь дней. Из его слов следовало, что жить он тут сможет еще только шесть дней, а до субботы оставалось целых три дня! О, с каким жгучим нетерпением ожидал я ее! А пока Окровавленная Монахиня продолжала свои ночные посещения. Но надежда, что скоро им наступит конец, лишала их прежнего ужаса.

Наступила долгожданная ночь. Чтобы не вызвать подозрений, я лег в обычный свой час, но едва ухаживавшие за мной слуги удалились, как я вновь оделся и приготовился встретить незнакомца. Он вошел ко мне ровно в полночь. В руке он держал сундучок, который поставил возле камина. Он молча поклонился мне, я ответил ему поклоном, также ничего не сказав. Затем он открыл сундучок и достал небольшое деревянное распятие. Упав на колени, он устремил на распятие скорбный взгляд, а затем возвел глаза к Небу. Казалось, он горячо молится. Затем, благоговейно склонив голову, он трижды поцеловал распятие и встал, после чего извлек из сундучка закрытый крышкой кубок. Хранившейся в кубке жидкостью, которая выглядела как кровь, он обрызгал пол и, окунув в кубок конец распятия, очертил им круг посередине комнаты. Возле черты он расположил различные реликвии: черепа, кости и тому подобное, причем, как я заметил, выкладывал их в форме крестов. Наконец, взяв большую Библию, он вступил в круг и сделал мне знак последовать за ним. Я повиновался.

– Берегись произнести хоть слово, – прошептал незнакомец. – Не переступай черты и, если дорожишь собой, не вздумай смотреть на мое лицо!

Держа в одной руке распятие, а в другой Библию, он, казалось, погрузился в чтение. Куранты пробили час. Как обычно, я услышал шаги призрака по ступенькам, но знакомого холодного озноба не почувствовал. Я ждал появления Окровавленной Монахини с уверенностью. Она вошла в комнату, приблизилась к кругу и остановилась. Незнакомец произнес несколько непонятных слов. Затем, подняв голову и протянув распятие в сторону призрака, провозгласил громким и грозным голосом:

– Беатриса! Беатриса! Беатриса!

– Чего ты хочешь? – произнес призрак глухим запинаящимся голосом.

– Что тревожит твой сон? Почему ты преследуешь и терзаешь этого юношу? Как можно вернуть покой твоей неприкаянной душе?

– Не смею ответить! Я не должна отвечать! Как хотела бы я упокоиться в могиле, но беспощадные повеления вынуждают меня продлевать мою кару!

– Знаешь ли ты эту кровь? Знаешь ли ты, в чьих жилах она струилась? Беатриса! Беатриса! Его именем приказываю тебе отвечать!

– Я не смею ослушаться тех, кто повелевает мной.

– Смеешь ли ты ослушаться меня?

Он произнес эти слова властным тоном и снял черную ленту со лба. Вопреки его предугадыванию я подчинился любопытству и поднял глаза на его лицо. На лбу его был отпечаток пылающего креста! Не могу объяснить, почему этот вид внушил мне смертельный страх, но ничего подобного я никогда не испытывал. На мгновение я лишился чувств, таинственный ужас возобладав над моим мужеством, и, если бы заклинатель не схватил меня за руку, я упал бы за черту.

Придя в себя, я увидел, что пылающий крест произвел на призрачную Монахиню не меньшее действие. Лицо ее изобразило благоговение и великий страх, бестелесные члены ее содрогались.

– Да! – произнесла она наконец. – Я трепещу перед этим знаком! Я почитаю его! Я повинуюсь тебе! Узнай же, что кости мои до сих пор не погребены. Они тлеют в глубине Линденбергской дыры. И лишь этому юноше дано право предать их земле. Его собственные уста объявили, что он мой и телом и душой. Я не освобожу его от этого обета, и каждую ночь его будет поражать ужас, пока он не обяжется собрать мои истлевшие кости и похоронить их в семейном склепе его андалузского замка. Потом пусть отслужат тридцать месс за упокой моей души, и более я не стану тревожить этот мир. А теперь отпусти! Это пламя меня сжигает.



Он медленно опустил руку, сжимавшую распятие, которым до этой минуты указывал на нее. Она склонила голову и растаяла в воздухе. Заклинатель вывел меня из круга, убрал Библию и все остальное в сундучок, а затем обернулся туда, где я стоял, окаменев от удивления.

— Дон Раймонд, ты слышал, на каких условиях тебе обещан покой. Так исполни их в точности. Мне же остается только рассеять тьму, все еще окружающую историю этого духа, и сообщить тебе, что при жизни Беатриса носила фамилию де лас Систернас. Она была дворянкой бабкой твоего деда. Родство между вами требует от тебя уважения к ее праху, хотя непомерность ее преступлений должна вызвать у тебя содрогание. Что это были за преступления, лучше меня поведать тебе не может никто, ибо я знал святого человека, который положил конец ее ночным бесчинствам в замке Линденберг, и выслушал рассказ о них из собственных его уст.

Беатриса де лас Систернас постриглась в монахини в нежных годах не по собственной воле, но по настоянию родителей. Тогда она была еще слишком юна, чтобы сожалеть о радостях, которых монашество ее лишило. Но едва в ней пробудилась пылкая и сладострастная

натура, как она безудержно предалась своим страстям и воспользовалась первым же случаем, чтобы обрести им удовлетворение. Случай этот представился только после долгих неудач, которые лишь пуще распаляли ее желания. Она сумела убежать из монастыря и уехала в Германию с бароном Линденбергом.

Несколько месяцев она жила у него в замке как его наложница. Вся Бавария была возмущена ее дерзким и бесстыдным поведением. Пиршества ее соперничали роскошью с пирами Клеопатры, и Линденберг стал местом самых необузданных оргий. Не довольствуясь славой развратницы, она объявила себя атеисткой, постоянно поносила свои монашеские обеты и смеялась над самыми священными церковными обрядами.

Обладая столь порочной натурой, Беатриса недолго продолжала отдавать свою нежность одному. Поселившись в замке, она вскоре обратила внимание на младшего брата барона и пленилась его надменным лицом, гигантским ростом и геркулесовским телосложением. Она не намерена была прятать свою благосклонность. Однако Отто фон Линденберг даже превосходил ее порочностью. Он отвечал ей лишь в той мере, чтобы еще сильнее распалять ее страсть, а добившись желаемого, назначил ценой за свою взаимность убийство брата. Негодница согласилась на этот ужасный уговор. Для свершения страшного дела была назначена ночь. Отто, живший в небольшом поместье неподалеку от замка, обещал ждать ее в Линденбергской дыре в час, а также привести с собой надежных друзей, с чьей помощью он без труда станет хозяином замка, после чего не замедлит вступить с ней в брак. Именно это последнее обещание и взяло верх над остатками совести Беатрисы, так как барон, хотя и любил ее, заявил самым решительным образом, что женой его она никогда не будет.

Настала роковая ночь. Барон спал в объятиях своей коварной любовницы. Когда колокол замка пробил час, Беатриса выхватила из-под подушки кинжал и вонзила его в сердце своего любовника. Барон испустил ужасный стон и скончался. Убийца тотчас покинула кровать, взяла в одну руку светильник, в другую окровавленный кинжал и поспешила в пещеру. Привратник не осмелился не открыть ворота той, кого челядь в замке боялась куда больше, чем своего господина. Беатриса без помех добралась до Линденбергской дыры, где ее уже ожидал Отто. Он выслушал ее рассказ с ликованием, но, прежде чем она успела спросить, почему с ним никого нет, он объяснил, что не хотел, чтобы при их встрече присутствовали свидетели. На самом же деле, стремясь скрыть свою причастность к убийству, а также избавиться от женщины, чей необузданный и жестокий нрав заставлял его трепетать за собственную жизнь, он решил убить свою мерзкую сообщницу. Внезапно он бросился на нее, вырвал из ее руки кинжал, погрузил ей в грудь лезвие, еще дымившееся кровью его брата, а затем добил несколькими ударами.

Отто унаследовал линденбергское баронство. Убийство все приписывали только исчезнувшей монахини, и никто не подозревал, что на кровавое дело подстрекнул ее он. Однако, если люди оставили его преступление без кары, Божье правосудие не позволило ему мирно наслаждаться титулом и богатствами, добытыми кровью. Кости Беатрисы лежали непогребенные в Линденбергской дыре, но неприкаянная душа Беатрисы продолжала обитать в замке. Одета как монахиня в ознаменование данных Небу и нарушенных обетов, с кинжалом, испившим крови ее любовника, и светильником, помогшим ей найти путь в темноте, она каждую ночь приходила к ложу Отто. В замке царил жуткое смятение – под сводами эхо отвечало воплям и стонам. Призрачная монахиня, проходя по старинным галереям, то страшно боготульствовалась, то бормотала молитвы. Отто не вынес ужаса, который внушало ему это страшное видение, становившееся все страшнее с каждым новым посещением. Его сердце, не выдержав, разорвалось, и однажды утром он был найден на постели холодным и бездыханным. Но смерть его не положила конца ночным буйствам. Кости Беатрисы оставались непогребенными, и ее дух все так же бродил по замку.

Титул и поместье унаследовал дальний родственник. Однако рассказы про Окровавленную Монахиню (как начали называть призрак) столь напугали нового барона, что он обратился

за помощью к прославленному заклинателю бесов. Этот святой человек вынудил ее на время оставить замок в покое. Она поведала ему свою историю, однако он не получил дозволения ни сообщить ее рассказ кому-либо другому, ни даже устроить так, чтобы прах ее похоронили в освященной земле. Обязанность эту приберегли для тебя, а тем временем дух ее был обречен бродить по замку и оплакивать свое преступление. Но как бы то ни было, заклинатель вынудил ее умолкнуть до конца своих дней. Пока он был жив, комната, где обитал призрак, стояла запертой и призрака никто не видел. Когда же пять лет спустя он скончался, Окровавленная Монахиня вновь стала являться людям, но лишь раз в пять лет, в тот самый день и в тот самый час, когда она вонзила кинжал в сердце своего любовника. Она выходила за ворота, посещала пещеру, где тлеют ее кости, возвращалась в замок, когда било два, и до истечения следующих пяти лет ее никто не видел и не слышал.

Она была обречена страдать столетие. Теперь этот срок миновал. Остается лишь схоронить кости Беатрисы. Я стал орудием, освободившим тебя от твоей призрачной мучительницы, и в безмерных моих горестях мысль, что я помог тебе, будет служить мне утешением. Прощай, юноша! Да насладится дух твоей родственницы покоем могилы, в котором отмщение Господне отказывает мне во веки веков!

С этими словами незнакомец направился к двери.

– Помедлите еще немного! – сказал я. – Мое любопытство во всем, что касалось призрака, вы удовлетворили, однако оставляете меня на жертву еще более жгучего! Соболаговолите же открыть, перед кем я в таком неоплатном долгу. Вы упоминаете давно прошедшие события и людей, умерших столетия тому назад. Вы беседовали с заклинателем духов, который, по вашим же словам, уже без малого век как скончался. В чем объяснение? Что означает крест, пылающий у вас во лбу, и почему вид его ввергает мою душу в такой ужас?

Некоторое время он отказывался ответить, но в конце концов уступил моим мольбам и обещал открыть мне все при условии, что я подожду до следующего дня. Мне пришлось согласиться, и он ушел. Утром я тотчас спросил о незнакомце. Вообрази же мое разочарование, когда мне сообщили, что он уже покинул Ратисбон. Я отправил за ним слуг, но напрасно. Им не удалось открыть никаких его следов. С той минуты я больше ничего о нем не слышал и, полагаю, не услышу никогда.

Тут Лоренцо перебил своего друга.

– Как? – сказал он. – Ты не узнал, кто он был? И даже догадаться не попытался?

– Прошу прощения, – отвечал маркиз. – Когда я рассказал об этом случае моему дяде, кардиналу-герцогу, он ответил, что, без сомнения, этот необычайный человек был не кто иной, как прославленный скиталец, известный всюду под прозвищем Вечный жид. Предположение это подтверждали запрет проводить в одном месте более двух недель, запечатленный у него на лбу пылающий крест, воздействие этого креста на окружающих и еще многие другие подробности. Кардинал полностью в этом убежден, и я тоже склонен принять такое решение загадки как единственно правдоподобное. Но вернемся к тому, что произошло дальше.

С этого дня я начал выздоравливать с быстротой, изумлявшей лекаря и всех вокруг. Окровавленная Монахиня более не появлялась, и вскоре я уже отправился в Линденберг. Барон принял меня с распростертыми объятиями. Я рассказал ему о последнем событии, и его весьма обрадовало, что призрак перестанет посещать его замок даже и раз в пять лет. С сожалением я убедился, что мое отсутствие не ослабило безрассудной страсти доньи Родольфы. Во время моего краткого пребывания в замке она в беседе с глазу на глаз возобновила попытки добиться от меня взаимности. Я же, считая ее первопричиной всех моих страданий, питал теперь к ней одно отвращение. Скелет Беатрисы был найден в месте, которое она назвала, а так как я лишь ради этого вернулся в Линденберг, то и поспешил покинуть владения барона,

равно торопясь и предать погребению прах убитой монахини, и бежать от посягательств женщины, мне противной. Я уехал, провожаемый угрозами доньи Родольфы, что мое пренебрежение неотмщенным не останется.

В Испанию я отправился самым прямым путем – Люка с моим багажом приехал ко мне еще в Линденберг. Добрался я до родной страны без происшествий и сразу же направился в андалузский замок моего отца. Прах Беатрисы был погребен в семейном склепе, все обряды были совершены и мессы отслужены, как она распорядилась. Теперь ничто не мешало мне сосредоточить все усилия на поисках монастыря, куда удалилась Агнеса. Донья Родольфа твердила мне, что ее племянница уже постриглась. Но я подозревал, что она обманывает меня из ревности и возлюбленная моя еще свободна от обета и может вступить со мной в брак. Я навел справки о ее семье. Оказалось, что донья Инесилья скончалась прежде, чем ее дочь успела достичь Мадрида. Ты, мой дорогой Лоренцо, сказали мне, еще не вернулся из путешествий. Твой батюшка уехал в отдаленную провинцию погостить у герцога де Медины, а про Агнесу никто ничего не знал. Теодора я перед отъездом из Германии отправил в Страсбург, как и обещал. Дед его тем временем скончался, и Маргарита унаследовала его состояние. Но все уговоры не покидать ее не возымели действия: Теодор простился с ней во второй раз и последовал за мной в Мадрид. Он не жалел усилий, чтобы способствовать предпринятым мною поискам. Но и совместные наши старания не принесли успеха. Место, где укрывали Агнесу, оставалось тайной, и я начинал терять надежду когда-либо свидеться с ней.

Около восьми месяцев тому назад я после вечера, проведенного в театре, полный грусти возвращался к себе. Ночь была темной, меня никто не сопровождал, и, погруженный в размышления, далеко не приятные, я обнаружил, что за мной следом идут трое мужчин, только когда свернул в безлюдную улицу, где все трое разом свирепо на меня набросились. Я отпрыгнул, выхватил шпагу, сбросил плащ и обмотал им левую руку. Густой мрак давал мне преимущество. Нападавшие наносили удары слепо и чаще мимо. В конце концов я сумел сразить одного из противников, но получил уже столько ран, а оставшиеся двое так меня теснили, что гибель моя была бы неминуемой, если бы лязг шпаг не привлек внимание какого-то кавалера. С обнаженной шпагой он бросился мне на помощь, за ним следовали слуги с факелами. Теперь дрались двое против двоих, однако браво не подумали отступить, пока не подбежали слуги, а тогда метнулись прочь и исчезли во тьме.

Мой спаситель учтиво заговорил со мной и осведомился, не ранен ли я. Ослабев от потери крови, я мог только слабым голосом поблагодарить его и попросить, чтобы кто-нибудь из его слуг проводил меня во дворец де лас Систернас. Едва я упомянул эту фамилию, как он назвался знакомым моего отца и объявил, что не отпустит меня, пока мои раны не будут перевязаны. Его дом, добавил он, совсем рядом, и я должен отправиться с ним туда. Настояния эти были столь искренними, что я уступил им и, опираясь на его руку, вскоре уже подошел к великолепному дворцу.

Дверь открыл седовласый слуга и, почтительно поздоровавшись с моим проводником, осведомился, скоро ли герцог, его господин, намерен покинуть загородный дом. Мой спаситель, ответив, что герцог думает пробыть там еще несколько месяцев, приказал послать за домашним врачом. Его приказание было тотчас выполнено. Меня усадили на диван в богато обставленной комнате, врач осмотрел мои раны и нашел их неопасными, однако добавил, что ночной воздух мне вреден. Мой спаситель принялся настаивать, чтобы я переночевал у него, и мне трудно было не принять его любезное приглашение.

Оставшись с ним наедине, я воспользовался этим, чтобы еще раз поблагодарить его, но он ничего не захотел слушать.

– Я почитаю себя счастливым, – сказал он, – что в моей власти было оказать вам эту ничтожную услугу, и навсегда останусь обязан моей дочери за то, что она задержала меня в монастыре Святой Клары до столь позднего часа. Величайшее почтение, которое я питаю к

маркизу де лас Систернасу, хотя обстоятельства, увы, помешали нам узнать друг друга ближе, заставляет меня вдвойне радоваться случаю познакомиться с его сыном. Я не сомневаюсь, что мой брат, в чьем доме вы находитесь, весьма огорчится из-за того, что, будучи в отъезде, не мог сам принять вас. Но в отсутствие герцога глава семьи я, и заверяю вас, что дворец де Медина и все в нем – к полным вашим услугам.

Вообрази же мое изумление, Лоренцо, когда я узнал, что спаситель мой – дон Гастон де Медина. Оно могло сравниться лишь с тайной радостью, которую он доставил мне, упомянув, что Агнеса находится в монастыре Святой Клары. Правда, радость эта быстро угасла, когда в ответ на мои нарочито равнодушные вопросы я узнал, что его дочь действительно постриглась. Однако я не позволил себе при этом известии поддаться горю, утешаясь мыслью, что влияние моего дяди в Риме поможет удалить это препятствие и он без особого труда получит для моей возлюбленной папское разрешение ее монашеского обета. Я удвоил выражения благодарности и всячески изъяснял свой восторг от знакомства с доном Гастоном.

Тут в комнату вошел слуга и доложил, что браво, которого я ранил, подает признаки жизни. Я выразил желание, чтобы его перенесли в дом моего отца, где, как только к нему вернется речь, я допрошу его о причинах этого покушения на меня. Оказалось, что раненый уже может говорить, хотя и с трудом, и дон Гастон из любопытства стал настаивать, чтобы я допросил убийцу при нем. Однако никакого желания удовлетворить это любопытство у меня не было. Во-первых, не сомневаясь, кто причина этого нападения, я не хотел разоблачить перед доном Гастоном преступление его сестры. А во-вторых, я опасался, что он узнает во мне Альфонсо д'Альвараду и примет меры, чтобы не допустить меня до Агнесы. Все, что мне было известно о характере дона Гастона, указывало, что признаться ему в любви к его дочери, с тем чтобы получить от него согласие на мой план, было бы верхом неразумия. Убежденный, что и дальше он должен знать меня только как графа де лас Систернаса, я никак не мог допустить, чтобы он присутствовал при допросе браво, и я намекнул ему на свои подозрения, что в этом замешана женщина, чье имя наемный убийца может ненароком назвать, отчего мне следует допросить его без посторонних. Деликатность не позволила дону Гастону настаивать дальше, и браво перенесли в мой дом.

Утром я простился с доном Гастоном, который в тот же день намеревался вновь отбыть к герцогу. Раны мои были не более чем царапинами и не причиняли особых неудобств, – если бы некоторое время мне не пришлось держать руку в повязке, я мог бы сразу забыть о ночном приключении. Но рана браво оказалась смертельной. Он только успел признаться, что его наняла убить меня мстительная донья Родольфа, и через несколько минут испустил дух.

Теперь все мои мысли были заняты только тем, как найти возможность поговорить с моей прекрасной монахиней. Теодор взялся за дело, и на этот раз с успехом. Он с такой настойчивостью осыпал монастырского садовника подарками и обещаниями, что старик вскоре уже готов был услужить мне как мог и предложил провести меня в монастырь под видом своего помощника. План был приведен в исполнение немедленно. В грубой одежде, с черной повязкой на глазу я был представлен настоятельнице, она сообразовала одобрить выбор садовника, и я тут же приступил к исполнению своих обязанностей. Ботаника всегда меня влекла, и в новом моем положении мне это весьма пригodiлось. Несколько дней я трудился в монастырском саду, не видя той, ради кого очутился там. На четвертое утро удача мне улыбнулась. Я услышал голос Агнесы и поспешил на его звук, но остановился, увидев настоятельницу, и укрылся за густыми кустами.

Настоятельница приблизилась к ним и вместе с Агнесой села на скамью. Я услышал, как она гневно бранит свою спутницу за непроходящую меланхолию. Она сказала ей, что в ее нынешнем положении оплакивать утрату возлюбленного уже преступно, но оплакивать утрату изменника – это величайшее безумие и нелепость. Агнеса отвечала так тихо, что я почти не различал ее слов, но заметил, что говорит она с кротостью и покорностью. Их разговор пре-

рвало появление молоденькой пансионерки, которая доложила настоятельнице, что ее ждут в приемной. Старуха встала, поцеловала Агнесу в щеку и удалилась. Но вестница осталась, и Агнеса стала ей хвалить кого-то. Я не понял кого, но ее юная собеседница, казалось, была восхищена и очень заинтересована. Моя монахиня показала ей какие-то письма. Та прочла их с видимым удовольствием, попросила разрешения переписать их и, к великой моей радости, ушла с ними.

Не успела она скрыться, как я покинул свое убежище. Боясь напугать мою прелестную возлюбленную, я подошел к ней тихо и молча, так как думал открыться ей не сразу. Но кто хоть на миг способен обмануть глаза любви? Она подняла головку и сразу же узнала меня вопреки моей одежде и повязке. С удивленным восклицанием она поднялась со скамьи и сделала движение уйти, но я поспешил за ней и удержал, умоляя, чтобы она меня выслушала. Агнеса, убежденная в моем коварстве, отказалась говорить со мной и потребовала, чтобы я немедленно покинул сад. Настал мой черед ответить отказом. Я поклялся, что не оставлю ее, какими бы опасными ни были последствия, пока она меня не выслушает. Я заверил ее, что она стала жертвой обмана своих родственников, что я могу неопровержимо доказать ей, какой чистой и бескорыстной была моя страсть, а затем спросил, зачем бы я пришел искать ее в монастыре, руководствуясь я теми эгоистическими побуждениями, которые приписали мне враги.

Мои мольбы, доводы и клятвы оставаться тут, пока она не обещает выслушать меня, вкупе с опасением, что нас увидят монахини, и еще не вполне изгладившейся из ее сердца нежностью ко мне моей предполагаемой измене вопреки наконец все-таки возобладали. Агнеса сказала, что исполнить мою просьбу теперь же она не может, но обещает прийти сюда вечером в одиннадцать часов и поговорить со мной в последний раз. Добившись этого обещания, я отпустил ее руку, и она быстро удалилась из сада.

О своем успехе я сообщил моему союзнику, старику садовнику, и он указал мне укромное место, где я мог дожидаться ночи никем не замеченный. Туда я и проскользнул, когда мне, как и старику, пришел час удалиться до утра, и с нетерпением ждал одиннадцати. Ночная прохлада благоприятствовала мне, так как она удерживала остальных монахинь в кельях. Только Агнеса пренебрегла ею и еще до одиннадцати нашла меня на месте, где мы встретились днем. Не опасаясь, что нас прервут, я объяснил ей истинную причину моего исчезновения пятого мая. Мой рассказ, видимо, глубоко ее поразил. Когда я кончил, она призналась, что была несправедлива в своих подозрениях, и горько упрекала себя за то, что постриглась в отчаянии из-за моего предательства.

– Но теперь поздно сетовать, – сказала она. – Жребий брошен. Я дала обет и посвятила себя служению Небесам. Я понимаю, как мало подхожу для монашества. Мое отвращение к монастырской жизни растет день ото дня. Тоска и скука – вот мои постоянные спутницы, и не скрою от тебя, что любовь, которую я прежде питала к тому, кого собиралась назвать мужем, еще не угасла в моей груди. Но мы должны расстаться! Непреодолимая стена стоит между нами, и по эту сторону могилы нам более нельзя встречаться!

Я принялся убеждать ее, что наш союз еще возможен. Я превозносил влияние, каким кардинал, герцог Лерма, пользуется в Риме, и заверил ее, что без труда добьюсь освобождения ее от обета, а дон Гастон, добавил я, конечно, не будет нам препятствовать, узнав мое истинное имя и силу моей любви. Агнеса ответила, что я плохо знаю ее отца, если питаю подобные надежды. Во всех других отношениях он добр и благороден, но суеверие приобрело над ним слишком большую власть. И тут он непоколебим. Он не раз приносил в жертву своим понятиям самое дорогое и усмотрит оскорбление в том, что его сочли способным допустить дочери нарушить клятву, данную Небесам.



– Хорошо, предположим, – начал я, – предположим, он не одобрит наш брак. Так пусть он ничего не знает, пока я не вызволю тебя из этой тюрьмы! Став моей женой, ты выйдешь из-под его власти. В его деньгах я не нуждаюсь, а когда он увидит, что его досада бесплодна, то, без сомнения, вернет тебе свою любовь. Но даже пусть случится худшее! Если дон Гастон окажется неумолим, все мои родственники будут соперничать, чтобы возместить тебе такую потерю, и в моем отце ты обрешь замену родителю, которого я тебя лишу.

– Дон Раймонд, – ответила Агнеса твердым, решительным голосом, – я люблю моего отца. В одном он обошелся со мной сурово, но я получала от него столько других доказательств его любви ко мне, что она стала мне необходима. Если я покину монастырь, он никогда меня не простит, а при одной мысли, что на смертном одре он меня проклянет, я леденею от страха. К тому же я чувствую, что мой обет нерушим. Я добровольно дала согласие посвятить себя Небесам, и будет преступлением взять его назад. Так изгони мысль о том, что мы когда-нибудь

соединимся. Я отдана церкви и, как ни удручает меня наша разлука, сама буду препятствовать тому, что сделает меня виновной в моих собственных глазах.

Я все еще пытался рассеять эти неверные угрызения, когда монастырский колокол позвал монахинь к заутрене. Агнеса должна была подчиниться его звону, но прежде я вырвал у нее обещание встретиться со мной на этом же месте в следующую ночь. Встречи эти продолжались без помех несколько недель, и вот теперь, Лоренцо, я должен просить тебя о снисхождении. Подумай о нашем положении, нашей молодости, нашей верной любви, взвесь все обстоятельства наших встреч, и ты не только признаешь искушение непомерным, но и простишь меня, когда я признаюсь, что в минуту беспамятства честь Агнесы была принесена в жертву моей страсти.

Глаза Лоренцо сверкнули гневом, алая краска разлилась по его лицу. Он вскочил и схватился за шпагу. Но маркиз успел удержать его руку и дружески ее сжал:

– Мой друг! Мой брат! Дослушай меня до конца! А до тех пор сдержи свое негодование и убедись, что вся вина, если то, о чем я сказал, – преступление, падает только на меня, а не на твою сестру.

Лоренцо уступил настояниям дона Раймонда. Он снова сел, приготовясь слушать с угрюмым нетерпением. И маркиз продолжал:

– Не успели пройти первые порывы страсти, как Агнеса вырвалась из моих объятий с ужасом. Она назвала меня бесчестным соблазнителем, осыпала горчайшими пенями и в безумном отчаянии била себя в грудь. Вне себя от стыда за свою несдержанность я не находил слов оправдания. Я попытался утешить ее. Я бросился к ее ногам и умолял о прощении. Она вырвала руку, которую я схватил, чтобы прижать к губам.

– Не прикасайся ко мне! – вскричала она в гневе, ужаснувшем меня. – Коварный лжец! Чудовище неблагодарности! Как я в тебе обманулась! Я видела тебя своим другом, своим защитником и доверчиво предалась тебе, веря твоей чести, думая, что моей ничто не грозит. И ты, кого я обожала, покрыл меня стыдом и позором. Ты соблазнил меня нарушить клятвы, данные Богу! Тобой я низведена до положения самых непотребных женщин! Стыдись, злодей! А меня ты больше не увидишь!

Она поднялась со скамьи, на которой сидела. Я попытался остановить ее, но она вырвалась и скрылась в монастыре.

Я удалился, полный смущения и неуверенности. Наутро я, как всегда, пришел в сад, но Агнесы не увидел. Ночью я ждал ее на обычном месте наших свиданий, но тоже напрасно. Несколько дней и ночей миновали таким же образом. Наконец я увидел, как моя оскорбленная возлюбленная свернула в аллею, где я работал. Она шла с той же юной пансионеркой, опираясь на ее руку, словно от слабости. Едва взглянув на меня, она тотчас отвернулась. Я ожидал, думая, что она вернется, но она направилась к монастырю, более не посмотрев на меня, презрев полный раскаяния взгляд, которым я умолял ее о прощении.

Едва монахини удалились, ко мне печально подошел старый садовник.

– Сеньор, – начал он, – к моему прискорбию, более я вам полезен быть не могу. Сестра, с которой вы встречались, сейчас сказала мне, что откроет все матери настоятельнице, коли я снова впущу вас в сад. Еще она поручила передать вам, что ваше присутствие здесь – оскорбление и если вы сохранили хоть каплю уважения к ней, то более никогда не попытаетесь увидеть ее. Простите, что я дольше не могу способствовать вашему маскараду. Коли настоятельница узнает про мой проступок, так может не просто прогнать меня, а по злобе обвинит в осквернении обители, чтобы меня бросили в темницу инквизиции!

Тщетно я пытался отговорить его от такого решения. Он запретил мне доступ в сад, и Агнеса упорствовала в отказе увидаться со мной или ответить на мои письма. Через две

недели мой отец тяжело заболел, и я должен был поспешить в Андалусию. Хотя недуг его врачи сразу признали смертельным, он болел долго, и я не мог покинуть его, а после его кончины устройство дел еще задержало меня в Андалусии. Затем я возвратился в Мадрид и нашел у себя дома вот это письмо.

Тут маркиз отпер ящик кабинета, вынул сложенный лист и протянул его Лоренцо. Тот развернул письмо и узнал почерк сестры. Оно гласило:

В какую бездну горести ты вверг меня, Раймонд! Ты принуждаешь меня стать такой же преступной, как ты сам. Я решила более не видеться с тобой, а если смогу, то и забыть тебя или же вспоминать о тебе лишь с ненавистью. Но существо, к которому я уже питаю материнскую нежность, молит меня простить моего соблазнителя и воззвать к его любви как к единственному средству спасения. Раймонд, я ношу под сердцем твое дитя. Я трепещу мщения настоятельницы. Я страшусь за себя, но куда сильнее за невинное создание, чья жизнь неотторжима от моей. Если мое положение будет открыто, нам обоим суждена гибель. Сообщи мне свой план. Садовник, обещавший доставить это письмо, изгнан из монастыря, и мы уже не можем полагаться на его помощь. Новый садовник неподкупен. Передать ответ всего надежнее можно, положив его под статую святого Франциска в церкви капуцинов. Туда я каждый четверг хожу исповедоваться и легко сумею взять твое письмо. Я слышала, тебя нет в Мадриде! Должна ли я молить о том, чтобы ты ответил сразу, как вернешься? Не думаю. Ах, Раймонд! Сколь жестока моя судьба! Обманутая ближайшими родственниками, вынужденная обречь себя на служение долгу, для которого не рождена, сознающая святость этого долга и соблазненная нарушить его тем, от кого, казалось, могла не ждать коварства, я теперь поставлена обстоятельствами перед выбором между смертью и клятвопреступлением. Женская робость и материнская любовь не оставляют места для колебаний. Но, давая согласие на твой план, я чувствую всю безмерность своей вины. Кончина моего бедного отца, отошедшего в мир иной после нашего рокового свидания, устранила одно препятствие. Он спит в могиле, и я более не страшусь его гнева. Но от гнева Бога – о Раймонд! – кто оградит меня? Кто может защитить меня от моей совести? От меня самой? Я гоню такие мысли. Они сводят меня с ума. Мое решение принято. Добейся освобождения меня от обета. Я готова бежать с тобой. Напиши мне, муж мой! Скажи, что разлука не угасила твоей любви, скажи, что ты спасешь от смерти свое нерожденное дитя и его злополучную мать. Я живу в вечных муках ужаса. Всякий брошенный на меня взгляд, мнится мне, разоблачает мою тайну, мой стыд. И ты причина этой муки! О, когда мое сердце тебя полюбило, как мало подозревало оно, что ты причинишь ему такую боль!

Агнеса

Прочитав это письмо, Лоренцо молча отдал его маркизу, и тот, убрав письмо в кабинет, продолжил свой рассказ.

– Мой восторг, когда я прочел то, о чем так мечтал, на что перестал надеяться, был чрезвычайен. План придумать затруднений не составило. Когда дон Гастон открыл мне, где находится его дочь, я не сомневался в ее согласии бежать со мной, а потому тотчас рассказал обо всем кардиналу, герцогу Лерме, и он уже начал хлопотать о папской булле. К счастью, потом я не попросил его оставить это дело и лишь несколько дней назад получил от него известие, что буллу он ждет со дня на день. Я с радостью счел бы это достаточным, но кардинал, кроме того, написал, что мне тем не менее следует найти способ увезти Агнесу из монастыря без ведома настоятельницы. Он не сомневался, что последняя будет очень рассержена тем, что лишится особы столь высокого положения, и сочтет отказ Агнесы от обета оскорблением для своего монастыря. Он представил ее женщиной властной и мстительной, способной на всякие

крайности. Следовало опасаться, что она заточит Агнесу в подземельях монастыря и положит конец моим надеждам вопреки папской булле. Обдумав все это, я решил немедленно похитить мою возлюбленную и до прибытия буллы укрыть ее в поместье кардинала-герцога. Он одобрил мое намерение и обещал дать приют беглянке. Затем по моему распоряжению новый садовник монастыря Святой Клары был похищен и заперт у меня во дворце. Таким способом я раздобыл ключ от садовой калитки, и мне оставалось лишь оповестить Агнесу. Что я и сделал в письме, которое, как ты видел, отнес нынче вечером в церковь. В нем я сообщил ей, что завтра в полночь приду за ней, что у меня есть ключ от садовой калитки и она может надеяться на скорое освобождение.

Теперь, Лоренцо, ты дослушал до конца мою длинную повесть и знаешь все. В свое оправдание я могу сказать только, что мои намерения в отношении твоей сестры всегда были самыми чистыми, что я хотел и хочу сделать ее своей женой. И уповаю, что ты, взвесив обстоятельства, нашу юность, нашу любовь, не только простишь нам минутное уклонение с пути добродетели, но и поможешь мне искупить мою вину перед Агнесой и обрести освященное Церковью право на нее и на ее любовь.

Глава 2

*Кого в ладье тщеславья славы вал
Влечет, гонимый ветрами похвал,
Играет тем, шутя, коварный бриз:
Возносит к небу и швыряет вниз!
Кто славы ищет, проиграет тот:
Вдох оживит его и вдох убьет.*

*Поуп*¹⁸

Так маркиз заключил свое повествование. Лоренцо, прежде чем ответить, несколько минут раздумывал. Наконец он прервал молчание.

– Раймонд, – сказал он, беря руку маркиза, – суровый закон чести требует, чтобы я твоей кровью смыл пятно, легшее на нашу семью, но обстоятельства, жертвой которых вы стали, препятствуют мне считать тебя врагом. Искушение было слишком велико, а причина всех этих горестей – суеверие моих родителей, и они виновны более, чем ты или Агнеса. То, что было между вами, нельзя изменить, но можно загладить, связав вас узами брака. Ты был всегда и остаешься самым моим дорогим... нет, моим единственным другом! К Агнесе я питаю нежную любовь и никому с такой охотой не вручил бы ее у алтаря, как тебе. Завтра ночью я пойду с тобой и сам провожу ее в дом кардинала. Мое присутствие послужит оправданием ее поведению и снимет с нее вину за бегство из монастыря.

Маркиз поблагодарил его с самой горячей признательностью, после чего Лоренцо сообщил ему, что он может более не опасаться козней доньи Родольфы. Миновало уже пять месяцев с тех пор, как баронесса пришла в такой неистовый гнев, что у нее лопнула жила и через несколько часов она испустила дух. Затем он заговорил об Антонии. Маркиз весьма удивился, услышав про свою новую родственницу: его отец унес ненависть к Эльвире в могилу и никому ни словом не обмолвился, что ему известна судьба вдовы его старшего сына. Дон Раймонд заверил своего друга, что он, разумеется, признает свою невестку и ее прекрасную дочь. Приготовления к бегству не позволят ему побывать у них на следующий день, но он поручил Лоренцо заверить их в его дружбе и выдать Эльвире от его имени любую сумму, в какой она может

¹⁸ Александр Поуп (1688–1744) – английский поэт, один из крупнейших авторов британского классицизма.

нуждаться. Лоренцо обещал это сделать, как только узнает, где она поселилась. Затем он простился со своим будущим родственником и вернулся во дворец де Медина.

Когда маркиз вошел к себе в спальню, уже занималась заря. Понимая, что рассказ его займет не один час, и не желая, чтобы его прерывали, он, едва усадив Лоренцо, отослал слуг спать. А потому он несколько удивился, увидев в гардеробной Теодора. Паж сидел за столом с пером в руке и был так поглощен своим занятием, что не заметил появления господина. Маркиз остановился, наблюдая за ним. Теодор написал несколько строк, остановился, зачеркнул часть написанного и опять принялся писать, но с улыбкой; видимо, очень собой довольный. Наконец он бросил перо, вскочил со стула и радостно захлопал в ладоши.

– Вот-вот! – произнес он вслух. – Теперь превосходно!

Его восторги прервал смех маркиза, догадавшегося, чем он занимался.

– Что превосходно, Теодор?

Паж вздрогнул и оглянулся. Он покраснел, бросился к столу, схватил исписанный лист и в смущении спрятал его.

– Ах, ваша светлость! А я и не знал, что вы тут. Могу ли я вам чем-нибудь услужить? Люка уже лег спать.

– Я последую его примеру, после того как скажу тебе свое мнение о твоих стихах.

– Моих стихах, ваша светлость?

– Да-да! Я уверен, что ты тут сочинял стихи! Ведь только это могло помешать тебе лечь. Где они, Теодор? Мне хочется прочесть твои вирши.

Щеки Теодора стали совсем багровыми. Ему не терпелось показать свое творение, но прежде он хотел, чтобы на этом настояли.

– Право, ваша светлость, они недостойны вашего внимания.

– Как? Стихи, которые ты только что объявил превосходными? Нет-нет, дай посмотреть, совпадут ли наши мнения. Обещаю, ты найдешь во мне снисходительного критика.

Мальчик достал лист с нарочитой неохотой, но радость, заблестевшая в его темных выразительных глазах, выдала его юное тщеславие. Маркиз улыбнулся, наблюдая движения души, еще не научившейся успешно прятать свои чувства. Он расположился на диване, и Теодор, на лице которого надежда боролась с опасениями, приготовился в тревоге ждать, когда маркиз окончит чтение следующих строк.

Любовь и старость
Выл ветер, ночь была черна.
Угрюм, у очага без сна
Сидел, согбен, старик Анакреон¹⁹.
Вдруг открылась хижина дверь.
Кого же видит он теперь?
Приветствует его с улыбкой Купидон.

«Как? Это ты? – вскричал старик,
И краска гнева в тот же миг
Сменила желчь морщинистых ланит. —
Иль вздумал ты огонь любви
Зажечь в хладающей крови?
От жала стрел твоих мне старость верный щит.

¹⁹ Анакреон – (570/559 – 485/478 до н. э.) – древнегреческий лирический поэт.

Зачем пришел ты в сей приют?
Здесь смех и ласки не живут.
Долины эти негой не манят.
Здесь слышен только ветра вой.
Здесь правит Старость, деспот злой.
Мой пуст цветник, а в сердце вечный хлад.

Прочь! С луком улетай скорей
В беседку между роз, лилей.
Ждет не дождется друга дева там.
Пронзи Дамону сердце ты
И Хлое сладкие мечты
Навей, крыло свое прижав к ее устам.

Там ты резвись, там ты играй!
Оставь холодный этот край!
Не властен ты над сединой моей.

О, скольких слез в расцвете лет
И вздохов стоил мне твой гнет!
Обманщик, не страшусь теперь твоих сетей.

Прочь с глаз моих! Мой мирный кров
Не место для коварных ков!
Изведал хитрость я твою и ложь.
Твои улыбки я презрел,
Но острых опаюсь стрел.
Лети же прочь! Здесь жертвы вновь ты не найдешь».

«Ты глуп стал в старости, – изрек,
Нахмурясь, оскорбленный бог. —
Коль мне слова такие говоришь!
Я ж все равно тебя люблю,
Хоть дружбу ты отверг мою
И радости прошедших дней теперь бранишь.

Одна пренебрегла тобой!
Но прочих нимф влюбленных рой
Ужель про Юлию забыть не дал?
О Человек! Ты вечно так!
Сто милостей тебе пустяк,
За промах же один готов поднять скандал.

Кто был с тобой у речки той,
Где Лесбия купалась в зной?
Кто известил, что Дафну сон сморил?
На помощь Тирса стала звать,
Кто научил ее обнять?

Любовь, Анакреон изменник! Иль забыл?

Ты „милый мальчик“ звал меня,
„Мое блаженство“, „светоч дня“.
Не можешь без меня, ты клялся, жить.
Меня ты нянчил, целовал.
Когда же чашу наливал,
Подслащивал вино, мне дав глоток испить.

Ужель возврата нет тем дням?
И суждена разлука нам?
К тебе не буду в сердце возвращен?
Но нет! Напрасен этот страх!
Твой взор, улыбка на устах
Мне говорят, что мил тебе я и прощен.

Любим, обласкан, вновь могу
С тобой резвиться на лугу,
Уставши, на груди твоей усну.
Согреет сердце факел мой,
Сражусь я за тебя с Зимой,
Вновь приведу сюда я Младость и Весну!»

Тут мальчик, развернув крыло,
Златое выдернул перо
И протянул поэту этот дар.
Анакреон перо берет,
И грез прекрасных хоровод
Предстал его глазам, и сердце полнит жар.

А в хижине светло как днем.
Пылает грудь любви огнем.
Магическую лиру он берет.
По струнам, столько лет немым,
Проводит перышком златым,
Могуществу Любви поэт хвалу поет.

Услышав имя это, лес
Страхнул снега. Гремит окрест,
Ломаясь, лед. Зима бежала прочь.
Зазеленел земли покров,
Зефиры веют средь цветов,
И солнце льет лучи, прогнав надолго ночь.

Сильваны, фавны тут как тут,
И нимфы к хижине бегут,
Покорствуя призыву дивных струн.
И сладкозвучного певца
Готовы слушать без конца.

Сгорают от любви и мнят – он снова юн.

А непоседа Купидон
Порхает, точно сам влюблен.
То тронет пальцем звонкую струну,
То поцелуем песнь прервет,
К груди певца на миг прильнет
Иль розами его украсит седину.

Тут рек поэт: «У алтаря
Любви служу отныне я.
О помощи просить не стану вновь
Ни Феба, ни богов иных.
Тебе, о Купидон, мой стих.
Владеет лирою моей одна Любовь».

И не вернусь я к давним дням,
Когда героям и царям
Хвалы я пел и звал их на войну.
Теперь я о царях молчу,
Героев славить не хочу,
Отныне лира будет петь любовь одну».

Маркиз вернул лист, ободряюще улыбнувшись.

– Твое стихотворение мне весьма понравилось, – сказал он. – Однако значение моему мнению тебе придавать не следует. В стихах я плохой судья, ибо за всю жизнь сотворил лишь шесть строчек, и они произвели столь злосчастное впечатление, что я твердо решил ими и ограничиться. Однако я отвлекся. Намеревался же я сказать, что найти занятие хуже стихоплетства ты не мог бы. Автор, хорош он, или плох, или как раз посередине, – это зверь, на которого охотятся все кому не лень. Пусть не все способны писать книги, но все почитают себя способными судить о них. Плохое сочинение несет кару в себе самом, вызывая пренебрежение и насмешки. А хорошее возбуждает зависть и обрекает своего создателя на тысячу унижений. Он становится жертвой пристрастной и зложелательной критики. Этот бранит композицию, тот стиль, третий – мысли, в нем заключенные; те же, кому не удастся обнаружить недостатки в книге, принимают поносить автора. Они ревностно доискиваются до самых ничтожных обстоятельств, которые могут сделать предметом насмешек его характер или поведение, и стремятся ранить человека, раз уж не могут повредить писателю. Короче говоря, выступить на поприще литературы – значит добровольно подставить себя стрелам пренебрежения, насмешек, зависти и разочарования. Пишешь ли ты хорошо или дурно, не сомневайся, что клевет тебе не избежать. Собственно говоря, в этом обстоятельстве начинающий автор обретает главное свое утешение. Он вспоминает, как часто Лопе де Вега и Кальдерон подвергались гонениям злобных и завистливых критиков, а потому скромно верит, будто и ему выпала та же судьба. Однако я понимаю, что все мои мудрые поучения ты пропускаешь мимо ушей. Сочинительство – это мания, победить которую никакими доводами невозможно. И мне так же не по силам убедить тебя не писать, как тебе меня – не любить. Однако, если уж ты должен время от времени поддаваться

пиитической лихорадке, будь, во всяком случае, осмотрителен и показывай свои стихи лишь тем, чье расположение к тебе снищет им одобрение.

– Так вы, ваша светлость, не находите эти строки хотя бы сносными? – спросил Теодор со смиренным и огорченным видом.

– Ты меня не понял. Как я уже сказал, мне они весьма понравились, но мое расположение к тебе делает меня пристрастным, а другие, возможно, будут судить их гораздо строже. Должен заметить, однако, что даже моя слабость к тебе не ослепляет меня настолько, чтобы я не заметил кое-какие недостатки. Например, ты ужасно путаешься в метафорах и более склонен полагаться на слова, чем на смысл. Некоторые строки явно написаны только для рифмы, а почти все лучшие мысли заимствованы у других поэтов, хотя сам ты мог и не заметить кражи. Все эти недостатки иногда неизбежны в длинной поэме, но короткое стихотворение должно быть правильным и безупречным.

– Все это верно, сеньор, но заметьте, я пишу лишь ради собственного удовольствия.

– Тем менее простительны недостатки в твоих стихах. Небрежности можно спустить тем, кто работает за деньги, кто обязан завершить такой-то заказ к такому-то сроку и кому платят за количество, а не за качество написанного. Но тем, кого авторами сделала не нужда, кто пишет лишь для славы и имеет досуг отделять свои творения, извинить недостатки невозможно, и они заслуживают острейших критических стрел.

Маркиз поднялся с дивана. Лицо пажа приняло выражение унылой грусти, и его господин это заметил.

– Однако, – добавил он с улыбкой, – мне кажется, этих строк тебе стыдиться нечего. Стих у тебя легкий и слух как будто верный. Читая твоё стихотворение, я получил немалое удовольствие и, если это не составит большого затруднения, буду тебе весьма обязан за список.

Лицо Теодора сразу прояснилось. Он не заметил полуласковой, полуиронической улыбки, которая сопровождала эту просьбу, и с восторгом обещал переписать стихи для маркиза. Тот удалился к себе в спальню, посмеиваясь над тем, с какой быстротой утешили тщеславие Теодора его последние слова. Он бросился на свое ложе, и вскоре им овладел сон, рисуя ему самые чудесные картины его счастья с Агнесой.

Вернувшись во дворец де Медина, Лоренцо тотчас спросил, нет ли для него писем. Ему принесли четыре, но того, которого он ждал, между ними не оказалось. Леонелла не сумела написать ему в тот же вечер. Однако в своем нетерпении покорить сердце донна Кристобая, которое, льстила она себя мыслью, уже почти ей принадлежало, тетка Антонии не могла допустить, чтобы он хотя бы еще день пребывал в неведении, где ее искать. Вернувшись из церкви, она с ликованием поведала сестре, как внимателен к ней был красавец-кавалер и как его спутник взялся ходатайствовать за Антонию перед маркизом де лас Систернасом. Эльвира выслушала этот рассказ с совсем иным чувством, попеняла сестре за неосмотрительность, с какой она доверила ее историю совершенно незнакомому человеку, и выразила опасение, как бы этот необдуманный шаг не настроил маркиза против нее. Однако главное свое опасение она скрыла от сестры. С тревогой она заметила, как при упоминании Лоренцо по лицу ее дочери разлился жаркий румянец. Робкая Антония не осмеливалась произнести его имя, но, сама не зная почему, смутилась, когда разговор зашел о нем, и попыталась перевести его на Амбросио. Эльвира заметила чувства, волнующие ее юную грудь, и потребовала, чтобы Леонелла нарушила обещание, которое дала кавалерам. Вздых, вырвавшийся при этих словах у Антонии, утвердил осторожную мать в этом решении.

Однако Леонелла и не думала подчиниться ему. Она не сомневалась, что его породила зависть, что ее сестра боится, как бы ей не достался знатный супруг. Никому ничего не сказав, она при первом удобном случае отправила Лоренцо следующее послание, которое ему подали, едва он открыл глаза:

Без сомнения, сеньор дон Лоренцо, вы уже не раз обвиняли меня в неблагодарности и забывчивости, но, слово девственницы, не в моих силах было исполнить мое вчерашнее обещание. Не знаю даже, как описать вам, сколь странно моя сестра отнеслась к вашему желанию посетить ее. Она необычная женщина и обладает многими превосходными качествами, но ревность ко мне часто внушает ей совершенно необъяснимые мысли. Услышав, что ваш друг оказал мне некоторые знаки внимания, она тотчас встревожилась, осудила мое поведение и наотрез запретила мне сообщить вам, где мы живем. Моя глубокая признательность вам за любезно предложенные услуги и... признаться ли?... мое желание еще раз увидеть галантного дона Кристобаля не позволяют мне последовать ее запрету. И вот я улучила минуту сообщить вам, что мы проживаем на улице Сан-Яго в пяти дверях от дворца д'Альборнос и почти напротив цирюльника Мигеля Колло. Спросите донью Эльвиру Дальфа, ибо, подчинившись приказу свекра, моя сестра сохранила девичью фамилию. В восемь вечера нынче вы можете застать нас дома, но ни словом не выдайте, что я написала вам. Если увидите графа д'Оссорио, скажите ему... Я краснею, признаваясь... Скажите ему, что и его приглашает расположенная к нему

Леонелла

Заключительная фраза была написана красными чернилами, означавшими стыдливую краску на ее щеках, вызванную таким насилием над ее целомудрием.

Едва дочитав это послание, Лоренцо отправился на поиски дона Кристобаля. Так и не отыскав его, он явился к донье Эльвире один, к величайшему разочарованию Леонеллы. Служанка, которую он просил доложить о себе, уже сообщила, что ее госпожа дома, и та вынуждена была его принять, хотя и с великой неохотой, которая еще увеличилась из-за изменившегося выражения на лице Антонии, и не стала меньше, когда юноша вошел. Изящество его телосложения, одушевленное лицо и непринужденная учтивость убедили Эльвиру, что такой гость может быть опасен для ее дочери. Она решила встретить его с холодной вежливостью, отказаться от его услуг с благодарностью и мягко дать почувствовать, что ему больше не следует их навещать.

Войдя, Лоренцо увидел Эльвиру на диване – ей нездоровилось, Антония сидела подле нее с пальцами, а Леонелла, одетая пастушкой, держала в руке «Диану» Монтемайора²⁰. Хотя Эльвира была матерью Антонии, Лоренцо невольно ожидал найти в ней истинную сестру Леонеллы и дочь «честного и усердного сапожника, каких и в Кордове мало». Одного взгляда было достаточно, чтобы открыть ему глаза. Он увидел перед собой женщину, чьи черты, несмотря на время и страдания, все еще хранили следы замечательной красоты. Они дышали серьезностью и достоинством, смягчавшимися ласковой благожелательностью. Лоренцо подумал, что в юности она, вероятно, была похожа на свою дочь, и охотно извинил безрассудство покойного графа де лас Систернаса. Она пригласила его сесть и сама тотчас опустила на диван.

Антония встретила его скромным реверансом и вновь взялась за рукоделие. Ланиты ее атели, и она низко склонилась над пальцами, желая скрыть волнение. Ее тетка сочла нужным напустить на себя девичью стыдливость. Она делала вид, будто краснеет, трепещет, и, потупившись, ждала учтивых комплиментов дона Кристобаля. Через несколько минут, убедившись, что он к ней не подходит, она подняла глаза и только теперь с досадой обнаружила, что Медина пришел один. Нетерпеливость не позволила ей ждать объяснения, и, перебив Лоренцо, который передавал поручение Раймонда, она пожелала узнать, что случилось с его другом.

Лоренцо, полагая, что ему необходимо остаться у нее в милости, попытался успокоить ее, несколько поступившись правдой.

²⁰ «Диана» – пасторальный роман португальского писателя Хорхе де Монтемайора (ок. 1520–1561).

– Ах, сеньора, – ответил он грустным голосом, – как удручен он будет, что лишился этой возможности засвидетельствовать вам свое почтение! Болезнь близкого родственника понудила его внезапно уехать из Мадрида. Но по возвращении он, несомненно, с восторгом воспользуется первым случаем броситься к вашим ногам!

Тут его глаза встретились с глазами Эльвиры, и негодующий упрек в них был ему достаточной карой за ложь. Обман, кроме того, не достиг цели: Леонелла, надувшись, встала и сердито удалилась в свою комнату.

Лоренцо поспешил загладить промах, уронивший его во мнении Эльвиры. Он пересказал свой разговор с маркизом в том, что касалось ее, сообщил о намерении Раймонда признать вдову своего брата и передал его просьбу считать Лоренцо его заместителем до тех пор, пока он не свидится с ней. Это известие сняло с Эльвиры тяжелое бремя тревоги. Теперь она обрела покровителя для лишившейся отца Антонии, чье будущее внушало ей сильнейшие опасения. Избавившись от своих страхов, она не поскупилась на благодарности тому, кто так предупредительно помог ей. Но тем не менее не пригласила его бывать у них. Однако, когда Лоренцо, прощаясь, встал и попросил ее дозволения иногда справляться о ее здоровье, учтивость и искренность его слов, признательность за услугу и уважение к нему как к другу маркиза не позволили ей ответить ему отказом. И она с неохотой согласилась принимать его у себя. Пообещав не злоупотреблять ее добротой, он ушел.

Антония осталась наедине с матерью. Наступило молчание. Обоим хотелось говорить об одном и том же, и обе не знали, как приступить к этому разговору. Одной уста запечатывала непонятная ей робость, вторая боялась убедиться, что ее дурные предчувствия верны, или же внушить дочери мечты, которые, возможно, в ней еще не пробудились. Наконец Эльвира все-таки заговорила:

– Прекрасный молодой человек, Антония. Мне он очень понравился. Он в церкви долго оставался рядом с тобой?

– Все время, пока я была в церкви, он не отходил от меня. Уступил мне свой табурет, был очень любезен и внимателен.

– Неужели? Так почему же ты мне про него не упомянула? Твоя тетушка изливалась в похвалах его другу, ты превозносила красноречие Амбросио. Но ни она, ни ты ни слова не сказали ни про наружность дона Лоренцо, ни про его достоинства. Если бы Леонелла не сообщила, что он намерен помочь нам, я даже не знала бы о его существовании.

Она умолкла. Антония покраснела, но ничего не ответила.

– Быть может, ты судишь его более сурово, чем я? По моему мнению, внешность его приятна, разговор указывает на ум, а манеры безупречны. Однако тебе он мог показаться иным. Ты могла счесть его отталкивающим и...

– Отталкивающим? Ах, милая матушка, разве я могла бы так подумать? Я была бы очень неблагодарной, если бы осталась равнодушна к его давешней учтивости, и совсем слепой, если бы не заметила его достоинств. Его облик так изящен, так благороден! Манеры такие мягкие и все же такие мужественные! Я еще ни разу не видела, чтобы в одном человеке соединялось столько высоких качеств, и, думается, в Мадриде не найти ему равного.

– Так почему же ты только теперь хвалишь этого мадридского феникса? Почему скрыла от меня, что его общество тебе приятно?

– Право, не знаю. Вы задаете мне вопрос, который меня озадачивает. Я тысячу раз готова была заговорить о нем. Его имя рвалось с моих уст, но произнести его вслух у меня не доставало смелости. Однако, если я про него и молчала, это не значит, что я о нем мало думала.

– Этому я верю. Но сказать, почему тебе не доставало смелости? Да потому что, привыкнув доверять мне самые тайные свои мысли, ты не знала, как скрыть, а в то же время боялась признать, что в сердце твоём поселилось чувство, которое, как ты заранее знала, я не одобрю. Подойди ко мне, дитя мое!

Антония оставила пяльцы, бросилась на колени у дивана и спрятала лицо в материнских коленях.

– Не бойся, милая моя девочка. Считай меня столько же подругой, сколько матерью, и не страшись услышать от меня упреки. Я прочла тайну твоего сердца. Ведь ты еще не научилась скрывать свои чувства, и они не могли избежать моего внимательного взгляда. Этот Лоренцо опасен для твоего душевного покоя. Он уже затронул твое сердечко. Правда, я заметила без труда, что тебе отвечают взаимностью. Но каковы могут быть следствия такой привязанности? Ты бедна и не имеешь друзей, моя Антония. Лоренцо – наследник герцога Медины-Цели. Пусть у него самые благородные намерения, дядя никогда не даст согласия на ваш союз, а без согласия герцога не дам своего согласия и я. По горькому опыту я знаю, какие страдания подстерегают ту, что приходит женой в семью, не желающую ее принять. Так борись со своим чувством. Каких терзаний это тебе ни стоило бы. Сердечко у тебя нежное и привязчивое. Оно уже пробудилось. Однако, надеюсь, когда ты убедишься, что не должна поддаваться таким чувствам, у тебя достанет твердости изгнать их из сердца.

Антония поцеловала материнскую руку и обещала полное повиновение, и Эльвира продолжала:

– Чтобы помешать твоей страсти расти, необходимо будет помешать Лоренцо бывать у нас. Услуга, им оказанная, не позволяет мне просто отказать ему от дома. Но если только я не составила о его характере слишком уж лестного мнения, он сам перестанет бывать у нас, когда я объясню ему причины и положусь на его благородство. В следующий же раз, когда мы увидимся, я честно открою ему, в какое трудное положение ставит нас его присутствие. Что скажешь ты, дитя мое? Ведь это необходимо сделать, не так ли?

Антония без колебаний согласилась со всем – хотя и не без сожалений. Мать нежно ее поцеловала и удалилась к себе в спальню. Антония последовала ее примеру и так часто клялась не думать больше о Лоренцо, что только о нем и думала, куда сон не смежил ей вежды.

Пока мать с дочерью вели этот разговор, Лоренцо поспешил к маркизу. Все было готово для второго похищения Агнесы, и в двенадцать друзья уже были с каретой, запряженной четверней, у садовой ограды обители святой Клары. Дон Раймонд достал ключ и отпер калитку. Они вошли и остановились, ожидая, что к ним вот-вот присоединится Агнеса. Наконец маркиз потерял терпение. Начиная опасаться, что вторая попытка окажется не более удачной, чем первая, он предложил дойти до монастырских зданий. Друзья так и сделали, но везде было темно и тихо. Настоятельница решила сохранить случившееся в строжайшей тайне, боясь, что грех одной монахини навлечет позор на всех остальных или же могущественная родня помешает ей расправиться с намеченной жертвой. Поэтому она приняла все меры, чтобы любовник Агнесы не заподозрил, что его план разоблачен и его возлюбленной предстоит понести кару за свое отступничество. Та же причина заставила ее отказаться от мысли схватить неведомого соблазнителя в монастырском саду. Это вызвало бы большой переполох, и весь Мадрид заговорил бы о том, что случилось в ее обители. Она удовлетворилась тем, что надежно заперла Агнесу и не стала мешать ее любовнику. Все произошло, как она предвидела. Маркиз и Лоренцо прождали до рассвета, а затем бесшумно удалились, очень встревоженные неудачей и не понимая ее причины.

Утром Лоренцо явился в обитель и попросил свидания с сестрой. Настоятельница вышла к решетке со скорбным лицом и объявила ему, что Агнеса несколько дней находилась в сильном расстройстве, что сестры тщетно уговаривали ее объяснить причину и обратиться к ним за любящим советом и утешением, однако она упорно молчала. Но в четверг вечером расстройство это перешло в тяжкий недуг, и она не может встать с постели. Лоренцо не поверил ни единому слову. Он настаивал на свидании с сестрой. Если она не может выйти к решетке, пусть его проводят к ней в келью. Тут настоятельница перекрестилась. Как! Взгляд мужчины осквернит ее святую обитель? И она выразила изумление, что Лоренцо мог подумать о подобном.

Его просьба невыполнима, сказала она. Но если он вернется на следующий день, ее любимая дочь, наверное, уже настолько оправится, что сможет увидаться с ним в приемной у решетки. Получив это заверение, Лоренцо вынужден был удалиться, но оно его не удовлетворило, и он трепетал за судьбу сестры.

На следующий день он явился в ранний час. «Агнесе стало хуже. Врач объявил, что положение опасно. Ей предписан полный покой, и брату увидеть ее невозможно!» Ответ этот привел Лоренцо в ярость. Он требовал, умолял, угрожал. Прибегнул ко всем средствам, лишь бы увидеть Агнесу. Но настояния его остались столь же бесплодными, как и накануне, и он в отчаянье вернулся к маркизу. Тот со своей стороны не жалел усилий, чтобы узнать, почему его план не удался. Дон Кристобаль, которому он теперь доверился, попытался вывести что-нибудь у старой привратницы, своей давней знакомицы, но она была настороже, и он ничего не выяснил. Маркиз сходил с ума от тревоги, Лоренцо тоже. Оба не сомневались, что план бегства был раскрыт. Оба были убеждены, что болезнь Агнесы – выдумка, но не видели, как вырвать ее из рук настоятельницы.

Лоренцо посещал монастырь ежедневно и ежедневно слышал, что его сестре становится хуже. Это его не тревожило, так как он был уверен в мнимости этого недуга. Но он ничего не знал ни о ней, ни о причинах, почему настоятельница мешает им увидаться, и вот это ввергало его в чрезвычайную тревогу. Он все еще не мог решить, какие предпринять шаги, когда маркиз получил письмо от кардинала, герцога Лермы. К письму была приложена ожидаемая папская булла, гласившая, что Агнеса освобождается от обета и должна быть возвращена родственникам. Этот важнейший документ подсказал друзьям, как им следует действовать. Было решено, что Лоренцо немедленно явится с буллой к настоятельнице и потребует, чтобы ему тотчас вернули сестру. Ссылки на болезнь утрачивали силу. Булла предоставляла брату Агнесы право безотлагательно забрать ее из монастыря. И он решил сделать это на следующий же день.

Теперь, перестав тревожиться за сестру, ободренный надеждой скоро вернуть ей свободу, он мог посвятить несколько часов любви и Антонии. В то же время, что и в прошлый раз, он отправился к донье Эльвире. Она заранее предупредила служанку, чтобы Лоренцо проводили прямо к ней. Но как только о нем доложили, Антония удалилась с Леонеллой, и, войдя в комнату, он застал в ней хозяйку совсем одну. Она приняла его не столь холодно, как в первый раз, и предложила ему сесть подле себя на диване. Затем без промедления перешла к делу, как и было условлено между ней и Антонией.

– Не считите меня неблагодарной, дон Лоренцо, и не думайте, будто я уже забыла, какую важную услугу вы мне оказали, поговорив с маркизом. Ничто на свете не понудило бы меня поступить так, кроме благополучия моей дочери, моей любимой Антонии. Мое здоровье слабеет, и только Богу известно, как скоро я предстану перед Его престолом. Дочь моя останется без родителей, а если семья де лас Систернас откажет ей в покровительстве, то и без друзей. Она молода, простодушна, ничего не знает о коварстве мира и достаточно красива, чтобы стать жертвой соблазителя. Судите же сами, как меня страшит то, что ее ожидает. Судите же сами, с каким тщанием должна я оберегать ее от возможного их общества, не то в ней может заговорить еще дремлющая страстность. Вы располагаете к себе, у Антонии нежное, любящее сердце, и она благодарна вам за ваше ходатайство перед маркизом. Ваше присутствие заставляет меня трепетать, я боюсь, что оно пробудит в ней чувства, которые омрачат всю дальнейшую ее жизнь или внушат ей надежды, напрасные и непозволительные для девушки в ее положении. Простите, что я признаюсь в своих страхах, и пусть извинением мне послужит искренность. Я не могу отказать вам от дома, этого не допускает признательность, и мне остается лишь воззвать к вашему великодушию и умолять вас пощадить чувства встревоженной, обожающей матери. Поверьте, я всей душой сожалею, что необходимость заставляет меня отказаться от знакомства с вами. Но иного выхода нет, и ради Антонии я должна умолять вас более нас не навещать.

Выполнив мою просьбу, вы увеличите уважение, которое я уже к вам питаю и которого, как все меня убеждает, вы бесспорно заслуживаете.

– Ваша откровенность меня чарует, – отвечал Лоренцо. – Вы убедитесь, что не обманываетесь в своем лестном для меня мнении. И все же я надеюсь, что мое возражение окажется достаточно убедительным, чтобы вы взяли назад свою просьбу, подчиниться которой я могу лишь с величайшей неохотой. Я люблю вашу дочь, люблю всем сердцем и не мыслю счастья больше, нежели пробудить в ней взаимность и получить ее руку у алтаря. Правда, сам я небогат, смерть отца оставила меня без особых средств к существованию, но у меня есть надежды, позволяющие мне просить в жены дочь графа де лас Систернаса.

Он хотел было продолжить, но Эльвира прервала его:

– Ах, дон Лоренцо, за пышностью этого титула вы забываете низость моего происхождения. Вы забываете, что я вот уже четырнадцать лет живу в Испании, не признанная родней моего мужа, и живу на скудное содержание, которого едва хватало на поддержку и образование моей дочери. Нет, мной пренебрегали даже мои кровные родственники, которые из зависти сомневаются в подлинности брака. После смерти моего свекра мне перестали выплачивать содержание, и я оказалась на краю нищеты. В этом положении меня разыскала сестра, которая вдобавок ко всем своим чудачествам обладает горячим, щедрым и привязчивым сердцем. Она помогала мне из небольшого наследства, которое оставил ей наш отец, уговорила меня поехать в Мадрид и содержала меня с дочерью с тех пор, как мы покинули Мурсию. Так не считайте Антонию дочерью графа де лас Систернаса, считайте ее бедной беззащитной сиротой, внучкой ремесленника Торрибио Дальфа, живущей на деньги дочери этого ремесленника. Сравните это положение с положением племянника и наследника могущественного герцога де Медины. Я верю, что намерения ваши благородны. Но надежды на то, что ваш дядя одобрит такой союз, нет никакой, а потому я предвижу, что ваша любовь будет губительной для душевного покоя моей дочери.

– Простите меня, сеньора, но вы находитесь в заблуждении, если полагаете, что герцог Медина похож на большинство людей. Он великодушен и терпим, любит меня, и у меня нет оснований опасаться, что он запретит наш брак, когда поймет, что без Антонии для меня не будет счастья. Но, предположим, он не даст согласия: чего мне страшиться? Мои родители скончались, мое небольшое состояние принадлежит мне без всяких условий. Его хватит, чтобы Антония не знала бедности, а я променяю герцогство Медина на ее руку без единого вздоха сожаления.

– Вы молоды и пылки. Такие мысли для вас естественны. Но опыт, на горе, научил меня, что на неравных браках лежит проклятие. Я вышла замуж за графа де лас Систернаса против воли его родных. Сколько терзаний я перенесла из-за этого опрометчивого шага! Куда бы мы ни отправлялись, ненависть отца преследовала Гонсальво. Мы впали в нищету, и рядом не было друга, чтобы помочь нам. Наша взаимная любовь еще сохранялась, но, увы, порой угасая. Привыкший к богатству и роскоши, мой муж не мог перенести переход к нужде и неудобствам. Он с тоской вспоминал былую беспечную жизнь. Он сожалел о положении, от которого отказался ради меня, и, когда им овладевало отчаяние, упрекал меня за то, что я обрекла его на нищету и убогость. Он называл меня своей злой судьбой! Источником своих горестей, причиной своей гибели! О боже! Он не знал, что упреки моего собственного сердца были куда тяжелее! Он не понимал, что я страдаю втрое – за себя, за моих детей и за него! Правда, гнев его никогда долго не длился. Искренняя любовь ко мне скоро воскресала в его сердце, и тогда в своем раскаянии из-за слез, которые вызывали у меня недавние упреки, он мучил меня даже еще больше. Он бросался ничком на землю, умолял меня о прощении самыми отчаянными словами и проклинал себя как убийцу моего душевного покоя. Наученная опытом, что брак, заключенный без одобрения обеих семей, должен быть несчастным, я спасу мою дочь от горестей, которые выпали на долю мне. Пока я жива, без согласия вашего дяди она никогда не

станет вашей. А он, без сомнения, такого брака не одобрит. Власть его огромна, и я не допущу, чтобы Антония подверглась его гневу и гонениям.

– Гонениям? Но их же так просто избежать! Пусть случится худшее – достаточно будет покинуть Испанию. Мое имущество легко обратить в деньги. Острова Западных Индий станут нашим надежным приютом. На Испаньоле у меня есть поместье, правда ничего не стоящее. Мы бежим туда, и я сочту остров своей родиной, если Антония будет там со мной.

– О юность! Это лишь желанные грезы! Вот и Гонсальво думал так же. Воображал, что может покинуть Испанию без сожалений. Но первые же часы расставания открыли ему глаза. Вы еще не знаете, что такое оставить родину, и оставить навсегда! Вы еще не знаете, что такое променять то, что вам знакомо с младенчества, на неведомые варварские края! Быть забытым, навеки забытым товарищами юности. Видеть, как самые близкие вам, как предметы вашей нежной привязанности умирают от недугов, вызываемых тамошним воздухом, и не иметь возможности найти для них помощь! Я все это пережила! Мой муж и два чудных младенца обрели могилу на Кубе. И мою малютку Антонию спасло только мое возвращение в Испанию. Ах, дон Лоренцо! Можете ли вы понять, как я страдала в разлуке с родиной! Способны ли вы догадаться, как горько я сожалела обо всем, что я оставила в Испании, и как дорого мне стало само это слово – Испания! Я завидовала ветрам, дувшим в ту сторону. А когда мимо моего окна проходил какой-нибудь испанский матрос, распевая ту или иную знакомую песню, слезы навертывались мне на глаза, пока я вспоминала мой родимый край. И Гонсальво тоже... Мой муж.

Эльвира умолкла. Голос ее прервался, и она спрятала лицо за носовым платком. Потом поднялась с дивана и продолжала:

– Простите, но я должна покинуть вас на несколько минут. Воспоминания о моих бедах слишком взволновали меня, мне надобно побыть одной. До моего возвращения прочтите эти строки. Я нашла их в бумагах мужа после его смерти. Узнай я раньше, что он чувствовал все это, горе меня убило бы. Он написал эти стихи, когда мы плыли на Кубу и его ум был так затуманен горем, что он забыл про свою жену и детей. То, что мы теряем, всегда кажется нам самым дорогим. Гонсальво покидал Испанию навсегда, а потому Испания была ему драгоценней всего, что есть в мире. Прочтите их, дон Лоренцо. Они дадут вам некоторое представление о чувствах изгнанника!

Эльвира вложила в руку Лоренцо исписанный лист и вышла из комнаты. Юноша начал читать, и вот что он прочел:

Изгнание

Прости, Испания моя! Мы боле
Не свидимся! Прости же навсегда!
Тебя, твердит мне сердце, полнясь боли,
Гонсальво не увидит никогда.

Устали ветры спорить на просторе,
Корабль мой тихо по зыбям плывет.
Слабею духом и клянусь я море,
Что от Испании прочь меня влечет.

Родимый берег и шпили золотые
Моим глазам еще видны пока.
А с мыса звуки полились простые,
Но сладкие родного языка.

Там на скале рыбак с веселой песней
Развесил сеть, труд завершив дневной.
В картинах, что одна другой чудесней,
Былое воскресает предо мной.

Счастливец! Час урочный наступает,
Когда вернется он под отчий кров.
Ночная тьма сиянье дня сменяет,
И ужин незатейливый готов.

Любовь и Дружба с ним за стол садятся,
Нет у него ни горя, ни забот.
От близких он не должен отказаться.
Он не вздыхает, горьких слез не льет.

Счастливец! А вот мной неумолимо
Играет Рок, и нынче должен я
Покинуть все, что с детства мной любимо.
Сколь жребий мне завиден рыбаля!

Пастушки я уже не встречу снова,
Что, с козами бродя по крутизне,
Стенает о жестокости милого,
Пастушьего рожка не слышать мне.

Покой домашний позабыть мне надо,
К родительской груди мне не прильнуть.
Воспоминанья – вот моя отрада.
В палимый солнцем край лежит мой путь,

Где душная жара болезни множит,
Где змеи с тиграми кишат в лесах,
Где жажды утолить ничто не может,
Где желтая чума наводит страх.

Но все, чем угрожают те пределы, —
И медленная смерть во цвете лет,
И злая боль, терзающая тело,
И черных лихорадок тяжкий бред —

Не так страшны, не так тяжки, как мука
Прощанья с тобой, любимый край!
Все радости души убьет разлука,
Я сердцу своему твержу «прощай».

О, горе мне! Как часто в сновиденьях
Стремиться буду к родине моей!
И плакать о минувших наслажденьях,

И вспоминать покинутых друзей.

Долины Мурсии я в грезах озираю.
Вон в виноградниках знакомый склон,
Вон лес, в котором все поляны знаю,
Вон башни замка, где я был рожден.

Страна моя! Моих надежд обитель!
О, знаю, все восторги дней былых
Отныне станет Память, злой мучитель,
Преображать в источник мук моих.

Увы мне! В море кануло светило,
Сокрылись шпили, темен небосклон.
Ночная тьма далекий берег скрыла.
Вот виден – и уже не виден он.

Замрите, ветры! Не вздымайтесь, волны!
Усни, мой барк! И, чуть морской простор
Вновь солнце озарит, пусть, счастья полный,
Опять узрит Испанию мой взор.

Напрасны все моления и речи!
Крепчает ветер. Поутру в пути
От этих мест мы будем уж далече.
О, навсегда, Испания, прости!

Лоренцо едва успел прочесть эти строфы, как открылась дверь и к нему возвратилась Эльвира. Слезы, пролитые наедине с собой, принесли ей облегчение, и она обрела свое обычное спокойствие.

– Мне больше нечего сказать вам, дон Лоренцо, – произнесла она. – Вы узнали мои страхи, узнали причины, почему я умоляю вас не посещать нас больше. Я без колебаний доверилась вашей чести, и, я уверена, вы не опровергнете моего высокого о вас мнения.

– Еще только один вопрос, сеньора, и я прошусь с вами. Если герцог Медина одобрит мою любовь, будет ли мое предложение неприемлемо для вас и для прекрасной Антонии?

– Я буду с вами откровенна, дон Лоренцо. Брак этот представляется весьма маловероятным, и я боюсь, что дочь моя слишком уж пылко о нем мечтает. Вы приобрели власть над ее юным сердечком, и это очень меня тревожит. Я вынуждена отказаться от знакомства с вами, чтобы власть эта еще не усилилась. Что до меня, не сомневайтесь, я буду рада, если моя дочь сделает такую превосходную партию. Здоровье мое, ослабленное горем и болезнями, не позволяет мне надеяться на долгую жизнь, и я трепещу при мысли, что оставляю ее под покровительством совсем чужого человека. Маркиза де лас Систернаса я совершенно не знаю. Он, конечно, женится. Антония может не понравиться его супруге и тогда лишится своего единственного друга. Если герцог, ваш дядя, даст свое согласие, можете не сомневаться в согласии моем и моей дочери. Но без его согласия не надейтесь на наше. И во всяком случае, каким бы ни было решение герцога, пока оно не станет вам известно, прошу вас, не укрепляйте своим при-

сутствием увлечения Антонии. Если вы получите дозволение родных назвать ее своей женой, мои двери распахнутся перед вами. Если последует отказ, удовольствуйтесь моей признательностью и уважением, но помните, что встречаться больше мы не должны.

Лоренцо неохотно обещал подчиниться ее приговору, но добавил, что надеется незамедлительно получить согласие, которое даст ему право возобновить знакомство с ними. Затем он объяснил, почему маркиз не приехал сам, и счел возможным доверить ей историю своей сестры. А в заключение сказал, что надеется освободить Агнесу завтра же, а как только страхи дон Раймонда рассеются, он не замедлит лично заверить донью Эльвиру в своей дружбе и покровительстве. Но она покачала головой.

– Я боюсь за вашу сестру, – сказала она. – Мне много рассказывала о нраве настоятельницы обители Святой Клары моя подруга, которая воспитывалась в одном с ней монастыре. По ее словам, она высокомерна, упряма, суеверна и мстительна. С тех пор мне довелось услышать, что она горит желанием сделать свою обитель образцовой в Мадриде и не прощает тех, чья неосторожность может бросить на нее хоть малейшую тень. Хотя натура у нее очень властная и крутая, она, когда ей это нужно, умеет надеть личину мягкой доброжелательности. Она не брезгует никакими средствами, чтобы залучать знатных девиц под свое начало. Если разбудить в ней злобу, она неумолима и так бесстрашна, что не останавливается перед самыми жестокими карами, лишь бы наказать тех, кто эту злобу вызвал. Без сомнения, уход вашей сестры из монастыря она сочтет оскорблением и пустит в ход всевозможные хитрости, только бы не подчиниться приказу его святейшества папы, и меня страшит мысль, что донья Агнеса находится в руках этой опасной женщины.

Лоренцо встал, прощаясь. Эльвира протянула ему руку, которую он почтительно поцеловал и, сказав, что надеется незамедлительно получить право также приветствовать и Антонию, отправился к себе домой. Эльвира осталась очень довольна их разговором и с радостью подумала, что он может стать ее зятем, однако благоразумие не позволило ей сообщить дочери о радужных надеждах, которые теперь начала питать она сама.

Едва рассвело, как Лоренцо уже явился в монастырь Святой Клары, вооруженный папской буллой. Монахини были у заутрени. Он с нетерпением ожидал конца службы, и наконец к решетке приемной подошла настоятельница. Он потребовал свидания с Агнесой, старуха с печальным видом ответила, что милое дитя с каждым часом слабеет и врачи отчаиваются, но твердо настаивают, что спасти ее может только полный покой, а потому к ней нельзя допускать никого, чье присутствие может ее взволновать. Лоренцо не поверил ни единому слову, как не поверил выражениям горя и нежности к Агнесе, на которые настоятельница не скупилась. Чтобы покончить с этим, он вложил буллу ей в руку и потребовал, чтобы его сестру, больную, не больную, немедленно ему выдали.

Настоятельница приняла буллу с видом почтительного смирения, но едва глаза ее скользнули по строчкам, как ярость взяла верх над усилиями лицемерия. Багровая краска разлилась по ее лицу, и она метнула в Лоренцо взгляд, полный ярости и угроз.

– Приказ его святейшества папы! – произнесла она с гневом, который не сумела скрыть. – О, я выполнила бы его неукоснительно, но, к несчастью, сие не в моей власти.

Лоренцо перебил ее возгласом, полным удивления.

– Повторяю, сеньор, выполнить этот приказ я не властна. Сострадая чувствам брата, я подготовила бы вас к грустному известию постепенно, так, чтобы вы перенесли его мужественно. Но мне придется забыть мои добрые намерения. Вот приказ безотлагательно отпустить с вами сестру Агнесу, и посему мне остается только без обиняков сообщить вам, что в прошлую пятницу она скончалась.

Лоренцо в ужасе отшатнулся и побледнел. Но краткое раздумье убедило его в том, что настоятельница лжет, и это вдохнуло в него бодрость.

– Вы меня обманываете! – воскликнул он гневно. – Всего пять минут назад вы заверили меня, что она, хотя и очень больна, еще жива! Немедленно приведите ее! Я должен увидеть ее и увижу! Всякая попытка воспрепятствовать мне бесполезна.

– Вы забываетесь, сеньор! Вы обязаны почитать не только мой сан, но и мой возраст. Вашей сестры более нет. Если я и не сразу открыла вам это, то потому лишь, что опасалась, как бы столь неожиданное известие не ввергло вас в слишком иступленное горе. Поистине плохая благодарность за мою заботливость! И скажите, зачем бы мне удерживать ее? Одного ее желания покинуть нашу обитель было бы достаточно, чтобы я сама захотела ее отослать, видя в ней позор для ордена святой Клары. Однако она показала себя куда более недостойной моего доброго расположения. Ее преступления велики, и когда вы узнаете причину ее смерти, дон Лоренцо, то, без сомнения, возрадуется, что подобной твари уже нет в живых. В прошлый четверг, когда она вернулась с исповеди в церкви капуцинов, ей стало дурно. Недуг ее был странным, но она упорно скрывала причину, а мы, благодарение Пресвятой Деве, слишком не осведомлены в подобном, чтобы самим ее угадать! Судите же, какой была наша растерянность, каким был наш ужас, когда наутро она разрешилась мертвым младенцем и сразу скончалась сама... Как так, сеньор? Ужели лицо ваше и правда не выражает ни удивления, ни негодования? Ужели вам было известно бесстыдство вашей сестры и вы сохранили любовь к ней? В таком случае вы не нуждаетесь в моем сострадании. Больше мне сказать вам нечего. Могу лишь повторить, что исполнить распоряжение его святейшества не в моей власти. Агнесы больше нет, и, чтобы убедить вас в правдивости моих слов, призываю в свидетели сладчайшего Спасителя нашего, что вот уж три дня как ее погребли! – И с этими словами она поцеловала небольшое распятие, свисавшее с ее пояса. Затем поднялась с кресла и вышла из приемной. У двери она сказала Лоренцо с презрительной улыбкой: – Прощайте, сеньор. От подобного мне неизвестны никакие средства. Боюсь, даже еще одна папская булла вашей сестры не воскресит.



Удалился и тяжело удрученный Лоренцо. Но горе дон Раймонда, когда он узнал скорбную новость, граничило с безумием. Он отказывался поверить, что Агнеса умерла, и твердил, что ее по-прежнему скрывают стены монастыря Святой Клары. Никакие доводы не могли переубедить его, и каждый день он измышлял новый план, как получить о ней какие-нибудь сведения, и все они оказывались одинаково безуспешными.

Со своей стороны Медина смирился с мыслью, что больше никогда не увидит сестры. Однако он был убежден, что смерть ее не была естественной, а потому поощрял розыски дон Раймонда, решив жестоко отомстить бессердечной настоятельнице, если его подозрения хоть чем-то подтвердятся. Потерю сестры он оплакивал искренне, но огорчился и потому, что приличия заставили его на некоторое время отложить разговор с герцогом об Антонии. Однако его посланцы постоянно следили за дверью Эльвиры. Ему было известно, когда и куда выходила его возлюбленная. А так как по четвергам она неизменно слушала проповедь в церкви капуцинов, он знал, что хотя бы раз в неделю увидит ее непременно, хотя, соблюдая свое обещание, всегда скрывался от ее взора. Так прошли два долгих месяца. Об Агнесе ничего узнать не

удалось, и все, кроме маркиза, считали ее мертвой. Теперь Лоренцо решил открыть дяде свое сердце. Он уже несколько раз намекал, что подумывает жениться, и намеки эти принимались столь благосклонно, что он не сомневался в желанном ответе на свою просьбу.

Глава 3

*Пока они друг друга обнимали,
Благословляли ночь, день – проклинали.*

*Ли*²¹

Взрыв первых восторгов миновал, любострастие Амбросио было удовлетворено, плотская радость угасла, ее место занял стыд. В смятении, ужасаясь своей слабости, он вырвался из объятий Матильды и почувствовал себя отступником. О случившемся он думал со страхом, пугаясь разоблачения. Будущее ввергало его в трепет. Сердцем его овладело уныние, принеся с собой пресыщенность и отвращение. Он избегал взгляда соучастницы своего грехопадения. В меланхолическом молчании оба погрузились в тягостные размышления.

Первой его прервала Матильда. Она нежно взяла его руку и прижала к пылающим губам. – Амбросио! – прошептала она тихим дрожащим голосом.

Аббат содрогнулся и посмотрел на Матильду. Ее глаза были полны слез, ланиты горели румянцем стыда, мольба в ее взоре испрашивала сострадания.

– Губительница! – сказал он. – В какую бездну отчаяния ты меня ввергла! Если твой пол будет открыт, за минутное удовольствие я заплачу честью... нет, самой жизнью! Я был глупцом, что доверился твоим соблазнам! Что делать теперь? Как искупить мой проступок? Какая епитимья загладит мое согрешение? Негодная женщина, ты навеки лишила меня душевного покоя!

– Все эти упреки мне, Амбросио? Мне, кто принесла тебе в жертву мирские радости, упоение роскошью, девичью стыдливость, своих друзей, состояние и доброе имя? Что сохранила я из того, чего лишился ты? Разве я не разделила твою вину? Разве ты не разделял мое блаженство? Вину, сказала я? Но в чем наша вина, кроме как во мнении безрассудного света? Если свет ничего не знает, наши восторги становятся божественными и невинными! Противоестественным был твой обет целомудрия! Мужчина был сотворен не для него. А будь любовь преступлением, Бог не создал бы ее такой чудесной, такой необоримой! Прогони же тучи со своего чела, Амбросио! Предайся полностью тем наслаждениям, без которых жизнь – дар пустой. Перестань пенять мне за то, что я научила тебя блаженству, и вольно дели его с женщиной, которая тебя обожает.

Пока она говорила, глаза ее исполнились восхитительной неги. Грудь вздымалась. Она нежно обвила его руками, привлекла к себе и прильнула губами к его губам. В Амбросио вновь забушевало желание. Жребий был брошен, его обеты уже были нарушены, он уже совершил преступление, так почему бы не насладиться его плодами? Он прижал ее к груди с удвоенным пылом. Более не связанный стыдом, он дал волю своим буйным наклонностям, а прелестная распутница пускала в ход все изобретения сладострастия, все тонкости искусства наслаждения, которые могли усилить блаженство обладания ею и придать новое упоение восторгам ее любовника. Амбросио купался в плотских радостях, доселе ему неведомых. Ночь пролетела быстро, и утро порозовело, застав его все еще в объятиях Матильды.

Опьянев от наслаждения, монах встал с роскошного ложа сирены. Он больше не думал со стыдом о своей неводержанности, не страшился мщения оскорбленных Небес. Опасался он

²¹ Натаниэль Ли (ок. 1653–1692) – английский драматург. Цитируется отрывок из его пьесы «Софонисба», акт I, сцена 1.

только, как бы Смерть не отняла у него яства, которые из-за долгого поста казались особенно аппетитными. Матильда еще испытывала действие яда, но сладострастный монах потому лишь опасался за нее, что видел в ней не свою спасительницу, а наложницу. Лишившись ее, где еще он отыщет любовницу, с которой мог бы отдаваться страсти столь необузданно и в такой безопасности? И он настойчиво попросил ее применить средство, с помощью которого, по ее словам, она могла спасти свою жизнь.

– Да! – ответила Матильда. – Ты заставил меня почувствовать, как драгоценна жизнь, и я спасу свою. Никакая опасность меня не испугает, я смело взгляну на плоды моего действия и не содрогнусь перед их ужасами. Я буду думать, что моя жертва ничто в сравнении с обладанием тобою, которое она купит; я буду вспоминать, что миг в твоих объятиях в этом мире более чем оплачивает век мучений в том. Но прежде чем я совершу этот шаг, Амбросио, дай мне торжественную клятву не спрашивать никогда, как я спасу себя.

Он дал ей нерушимую клятву.

– Благодарю тебя, любимый. Предосторожность эта необходима, ибо ты, сам того не зная, находишься во власти глупых предрассудков. То, чем я должна заняться в эту ночь, может испугать тебя своей необычностью и принизить меня в твоем мнении. Скажи мне, есть у тебя ключ от маленькой калитки в западной стене сада?

– От калитки, которая ведет на кладбище нашего монастыря и монастыря Святой Клары? Нет. Но я могу без труда достать его.

– Тебе надо сделать только это. Впусти меня на кладбище в полночь. Последи, пока я спущусь в подземелье святой Клары, чтобы ничьи любопытные глаза меня не увидели. Оставь меня там одну на час, и жизнь, которую я посвящаю твоим наслаждениям, будет спасена. Чтобы не вызвать подозрений, не навещай меня днем. Не забудь про ключ и что я жду тебя перед полуночью. А! Я слышу приближающиеся шаги! Оставь меня, я притворюсь спящей.

Монах подчинился и вышел из кельи. На пороге он встретился с отцом Паблосом.

– Я, – сказал тот, – хочу посмотреть, как себя чувствует мой юный пациент.

– Тс-с-с! – шепнул Амбросио, прижимая палец к губам. – Говори потише. Я как раз ухожу. Он погрузился в глубокий сон, который, несомненно, будет ему полезен. Не буди его, он очень хотел уснуть.

Отец Паблос послушался и направился с аббатом в часовню, потому что позвонили к заутрене. В дверях часовни Амбросио охватило смущение. Он не привык ощущать себя виноватым, и ему казалось, что все читают по его лицу, как он провел ночь. Он попробовал молиться, но грудь его не наполнилась религиозным экстазом. Мысли его незаметно обращались к тайным прелестям Матильды. Но отсутствие чистоты сердца он возмещал внешним благочестием. Чтобы вернее скрыть свой грех, он удвоил показную набожность и никогда еще не являл такой преданности Небесам, как теперь, когда нарушил данные Богу клятвы. Так он незаметно для себя добавил лицемерие к отступничеству и прелюбодеянию. Последние два прегрешения были следствием соблазна, устоять перед которым было почти невозможно, но теперь он стал повинен в сознательном грехе, стараясь скрыть те, в которые был втянут другой.

По окончании службы Амбросио удалился к себе в келью. Наслаждения, которые он вкусил впервые, все еще занимали его мысли. Дух его был в смятении, мозг ввергнут в хаос раскаяния, сладострастия, тревоги и страха. Он с сожалением вспоминал о душевном мире, о стойкой добродетели, которые были его уделом до этого дня. Он предался бешенству плоти, самая мысль о котором еще сутки назад ввергла бы его в ужас. Он содрогался, думая, что пустячный недосмотр его или Матильды мгновенно уничтожит здание доброй славы, которое он воздвигал тридцать лет, и сделает его предметом омерзения для людей, чьим кумиром он пока остается. Совесть яркими красками живописала ему его клятвопреступление и слабость. Страх преувеличивал губительные последствия, и он уже видел себя в темнице инквизиции. Эти мучительные мысли сменялись воспоминаниями о красоте Матильды и тех восхитительных

уроках, которые, раз выученные, уже невозможно забыть. Единственный брошенный на них взгляд примирил его с самим собой. Он считал, что невинность и честь – недорогая цена за блаженства прошлой ночи. Даже мысль о них преисполнила его душу экстазом. Он проклинал тщеславие, которое принудило его провести расцвет молодости в заточении, не ведая прелестей Любви и Женщины. Он решил в любом случае продолжать отношения с Матильдой и призвал на помощь все доводы, которые могли подкрепить это решение. Он спросил себя, в чем будет заключаться его вина, если его уклонение от устава останется никому не известным, и каких дурных последствий должен он опасаться. Строго выполняя все остальные требования устава, кроме соблюдения целомудрия, он, конечно, сохранит уважение людей и даже защиту Небес. Он полагал без труда получить прощение за столь небольшое и естественное отклонение от обетов. Но он забыл, что после произнесения этих обетов непоследовательность, самый простительный грех для мирян, для него превращалась в гнуснейшее из преступлений.

Решив, как поступать в дальнейшем, он почувствовал себя легче и, бросившись на постель, попытался сном восстановить силы, истощенные ночными безумствами. Проснувшись он освеженный и готовый вновь вкушать радости плоти. Памятуя о распоряжении Матильды, днем он в ее келью не заходил. В трапезной отец Паблос упомянул, что Росарио наконец-то согласился выполнять его указания, но лекарство желанного действия не произвело и он убежден, что никакое земное искусство спасти юношу от смерти не может. Аббат согласился с ним и присоединился к сожалениям о безвременной кончине того, кто подавал такие надежды.

Наступила ночь. Амбросио еще днем позаботился взять у привратника ключ от кладбищенской калитки. И вот, когда в монастыре все стихло, он, вооружившись ключом, покинул свою келью и поспешил к Матильде. Она встала с постели и оделась еще до его прихода.

– С каким нетерпением ждала я тебя! – сказала она. – Моя жизнь зависит от этих мгновений. Ты принес ключ?

– Да.

– Так поспешим в сад! Нельзя терять времени! Следуй за мной.

Она взяла со стола закрытую корзинку, а в другую руку – горящий над очагом светильник и выбежала из кельи. Амбросио последовал за ней. Оба хранили глубокое молчание. Матильда быстрыми, но осторожными шагами прошла через галерею и достигла западной стены сада. Глаза ее горели безумным огнем, который внушал монаху трепет и ужас. На ее лице была написана решимость отчаяния. Она отдала светильник Амбросио, взяла у него ключ, отперла калитку и вошла на кладбище. Оно было квадратным, обширным и обсажено тисами. Половина его принадлежала аббатству, а вторая половина – обители Святой Клары и была укрыта под каменными сводами. Разделяла их чугунная решетка с калиткой, которая обычно не запиралась.

К ней-то и направилась Матильда, открыла ее и стала осматриваться в поисках двери, которая вела в подземные склепы, где истлевали кости монахинь ордена святой Клары. Ночной мрак был непроницаем. В небе не сверкали ни луна, ни звезды. К счастью, стояла полная тишь, и огонек светильника в руке монаха даже не колебался. С его помощью они вскоре отыскали вход в подземелье. Он находился в глубине ниши, и его скрывали густые плети плюща. К двери вели три грубые каменные ступени, и Матильда уже собралась спуститься по ним, как вдруг попятилась.

– В склепах люди! – шепнула она. – Спрячься, пока они не уйдут!

С этими словами она укрылась за великолепной гробницей, воздвигнутой в честь основательницы ордена. Амбросио последовал ее примеру и тщательно прикрыл светильник, чтобы лучи его не выдали их. Через мгновение дверь, ведущая в подземелье, распахнулась. Ступени озарил свет, и спрятавшиеся увидели двух женщин в монашеском одеянии. Они вели серьезный разговор. Аббат без труда узнал настоятельницу обители Святой Клары и одну из старейших монахинь.

– Все готово, – говорила настоятельница. – Судьба ее решится завтра. Ее вздохи и слезы останутся тщетны. Да! Я настоятельница этого монастыря уже двадцать пять лет, и ничего столь бесстыдного мне еще видеть не доводилось.

– Однако вам следует ожидать сопротивления вашей воле, – кротким голосом ответила ее спутница. – У Агнесы в монастыре много друзей, и, верно, мать Святая Урсула будет горячо ее защищать. Но поистине она этого заслуживает. Мне хотелось бы убедить вас вспомнить о ее юности и особенностях ее положения. К тому же она понимает всю глубину своего падения. Чрезмерность ее горя свидетельствует о ее раскаянии. И я уверена, что именно оно, а не страх наказания исторгает у нее слезы. Преподобная мать, если вы сообразоволяете смягчить свой суровый приговор, если снизойдете извинить это первое прегрешение, я стану порукой безупречности ее поведения в будущем.

– Извинить, сказала ты? Мать Камилла, ты меня удивляешь! Как? После того как она опозорила меня перед кумиром Мадрида, перед тем, кому я особенно хотела показать, как строга дисциплина в моей обители? Какой презренной должен был счесть меня благочестивый аббат! Нет, мать Камилла, нет! Оскорблений я не прощаю. Убедить Амбросию в моем отвращении к подобному преступлению я могу, лишь покарвав за него Агнесу со всей строгостью, какой требует наш устав. Так оставь свои просьбы. Они бесполезны. Мое решение принято. Завтра Агнеса станет грозным примером моего правосудия и негодования.



Мать Камилла, казалось, что-то возразила, но монахини уже отошли так далеко, что голоса их замерли. Настоятельница отперла дверь, ведущую в часовню Святой Клары, и закрыла ее, едва они вошли.

Матильда спросила, кто такая Агнеса, столь прогневившая настоятельницу, и какое отношение имеет она к Амбросию. Он рассказал ей о случившемся в исповедальне, а затем добавил, что с тех пор образ его мыслей переменился и теперь его сердце полно сострадания к злополучной монахине.

– Я намерен, – сказал он далее, – попросить настоятельницу принять меня и пушу в ход все средства, чтобы ее приговор был смягчен.

– Берегись! – перебила Матильда. – Такая перемена в тебе, естественно, вызовет подозрения, которых нам необходимо всячески избегать. Напротив, удвой свою внешнюю суровость и обрушивай грома на чужие проступки, чтобы лучше скрыть свой собственный. Предоставь монахиню ее судьбе. Твое вмешательство опасно, а ее неосторожность заслуживает кары.

Недостойна наслаждений любви та, у кого недостает ума скрыть их. Но, обсуждая этот пустяк, я напрасно трачу драгоценные минуты. Ночь промелькнет быстро, а до утра необходимо сделать еще много. Монахини ушли. Дай мне светильник, Амбросио. Спуститься в подземелье я должна в одиночестве. Жди здесь и, если кто-нибудь появится, предупреди меня звуком своего голоса. Но если тебе дорога жизнь, не вздумай последовать за мной. Она станет жертвой твоего дерзкого любопытства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.